

Вкус свободы



Любовь не требует жертв.
Она требует свободы.

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

DegaOr

18+

Вкус мёртвого мира

Dega Or
Вкус свободы

«Автор»

2026

Or D.

Вкус свободы / D. Or — «Автор», 2026 — (Вкус мёртвого мира)

Мэй выживает в лесах с младшим братом, пока их не настигают зараженные. Спасение приходит неожиданно — молчаливый рейнджер Коул убивает тварей и приводит их к воротам Элизиума. Поселения, где есть определенные правила. Мэй остается одна в незнакомом месте, где за доброту приходится платить. Где сын вождя Дэмиан имеет право выбрать любую женщину. Его выбор падает на нее. Дэмиан красив, умен, манипулятивен. Он дает Мэй всё — защиту, кров, еду для брата. Но цена этой заботы — она сама. Девушка попадает в ловушку стокгольмского синдрома, разрываясь между ненавистью и благодарностью к тому, кто ее сломал. Когда за стенами появляется Коул, Мэй оказывается между двумя мирами. Она готова на всё ради брата. Но когда приходит время выбирать между спасителем и мучителем, Мэй придется вспомнить: любовь не требует жертв. Она требует свободы.

© Or D., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Красный закат	5
Глава 2. Трое в лесу	11
Глава 3. Элизиум	18
Глава 4. Обещание	23
Глава 5. Лазарет	29
Глава 6. Праздник урожая	34
Глава 7. Ужин у Дэмиана	38
Глава 8. Слухи	42
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Dega Or

Вкус свободы

Глава 1. Красный закат

Ветки хлещут по лицу, оставляя кровавые полосы. Я даже не чувствую боли — только липкую влагу на щеке и соленый вкус пота на губах. Воздух рвет легкие, каждый вдох — как глоток битого стекла. Но нельзя останавливаться. Нельзя.

— Мэй... — голос Оливера срывается на хриплый всхлип. Он спотыкается, и я едва успеваю подхватить его за руку — мокрую, горячую, липкую от крови, сочащейся сквозь самодельную повязку на плече.

— Молчи, — шиплю я, дергая его вперед. — Молчи и беги.

Позади — треск сучьев, хриплое дыхание погони и голоса. Странные голоса — тягучие, с присвистом, словно говорящие через силу, сменяющиеся жутким чавканьем.

— Там... они... — один голос, низкий, с вибрацией, от которой мурашки бегут по коже.

— Ви...жу, — второй, с долгим шипением на согласных. — Горячие... мясо...

— Жрать... жрать охота, — третий голос, женский, переходит в вой.

Я не оборачиваюсь. Я знаю, кто там. «Красные». Так мы называем зараженных, которые не умерли сразу. Которые сохранили подобие разума — или то, что от него осталось. Говорят, Красная гниль по-разному действует на людей. Большинство умирает за неделю. Некоторые сходят с ума и бродят по лесам, воя на луну. А редкие единицы... они остаются собой. Почти. Только глаза у них становятся красными — сначала сосуды лопаются, потом радужка меняет цвет. И голод. Вечный, ненасытный голод. Они жрут всё, что движется. Людей, животных, даже падаль. Говорят, в их логовах находят человеческие кости, обглоданные дочиста, расколотые ради мозга черепа.

Оливер снова падает. На этот раз неудачно — подворачивает ногу и вскрикивает, зажимая рот рукой, но поздно. Они слышали.

— Здесь! — крик за спиной, переходящий в кашель. — Здесь они! Чувствую! Живые!

Я тяну брата вверх, но он не может встать. Лицо белое как мел, на лбу испарина, губы дрожат. Ему всего шестнадцать. Он еще ребенок, хотя в этом мире дети не взрослеют — они просто умирают чуть позже. Или их жрут живыми.

— Беги, — шепчет он. — Беги, Мэй. Я их задержу.

— Молчи, — выдыхаю я. И тут же зажимаю ему рот рукой. Голоса слишком близко.

Колючие, плотные ежевичные заросли вокруг нас. Мы продирались сквозь них, оставляя на шипах клочья одежды и кожи. Теперь они — наша единственная защита. Если сидеть тихо, если не дышать...

— Чувствую... их, — голос звучит совсем рядом. Я вижу сквозь ветки фигуру.

Это тварь, которая была когда-то человеком. Мужчина лет сорока, в рваной одежде, покрытой засохшей кровью и грязью. Но глаза... глаза у него красные. Не налитые кровью, а именно красные — радужка стала цвета запекшейся крови. Из рта течет слюна, смешанная с чем-то темным, на подбородке — кусок сырого мяса, застрявший в щетине. Человеческого? Звериного? Не разберешь. Он двигается странно — дергано, как марионетка, но целенаправленно. Нюхает воздух, поворачивая голову.

— Выходите, — говорит он. Голос низкий, с присвистом, слова даются ему с трудом. — Не убью... сразу. Сначала жрать буду. Горячее мясо... давно горячего не жрал.

Из-за его спины появляются еще один зараженный. Женщина — когда-то красивая, теперь страшная в своей полумертвой привлекательности. У нее длинные светлые волосы, спущенные

танные, с комьями грязи и запекшейся крови, и глаза — два красных уголька. В руках она держит человеческую руку — оторванную по локоть, синюшную, с обглоданными пальцами. Жует, чавкая, не обращая на нас внимания.

— Горячие, — мычит она с набитым ртом. Кровь течет по подбородку, капает на грудь. — Пахнут... жизнью.

— Зачем бежите? — спрашивает первый. — Мы тоже... люди. Только жрать хотим всегда. Вы привыкнете. Давайте... давайте мы вас укусим, и вы станете как мы. И жрать вместе будем. Всегда вместе.

Он делает шаг к нам. Еще шаг. Я сжимаю рукоятку ножа — жалкой самоделки, которую выменяла на бинты месяц назад. Лезвие шатается, рукоять обмотана изолентой. Этим даже хлеб резать трудно, не то что человека. Но выбора нет.

— Уходите, — говорю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Уходите, пока...

— Пока что? — он скалится. Зубы у него целы, но между ними застряли волокна мяса. — Позовешь кого? Тут никого нет. Только мы. И ты... такая теплая, такая сочная. Я слышу, как кровь по жилам течёт. Слышу! Вкусная кровь...

— Не подходи.

— Или что? — он делает еще шаг. — Убьешь меня? Я уже почти мертв. Красная Гниль внутри меня. Я каждую ночь чую, как она жрет меня изнутри. Но пока жрет — я живой. И хочу... жрать теплое мясо.

Он тянет ко мне руку. Я замахиwaюсь ножом, но он перехватывает мое запястье с неожиданной силой. Пальцы у него холодные, склизкие, но хватка железная.

— Какая... горячая, — выдыхает мужчина, притягивая меня ближе и вгрызаясь зубами мне в плечо. Не сильно, пробует на вкус. Я чувствую, как его язык скользит по коже, слизывая кровь с царапин.

— Пусти, тварь! — ору я, вырываясь.

Он смеется — жутким, булькающим смехом, разбрызгивая слюну. Женщина бросает обглоданную руку и ползет к нам на четвереньках, чавкая и повизгивая, тянет руки к Оливеру, облизываясь.

— Теплые... живые... мясо...

И в этот момент раздается свист.

Три дня назад.

Ферма появилась неожиданно — просто вынырнула из-за поворота дороги, заросшей молодым кленовым лесом. Старый каменный дом, наполовину разрушенная стена, ржавый остов трактора во дворе. И тишина. Та особенная тишина, которая бывает только в местах, где смерть уже собрала свой урожай и ушла.

— Посмотрим? — Оливер смотрел на меня с надеждой. Он всегда смотрел так, словно я знаю ответы на все вопросы. Я старше всего на четыре года, но для него я — мать, отец, бог и спаситель.

— Подожди здесь, — я жестом велела ему остаться за кустами, а сама двинулась к дому.

Запах смерти я учуяла еще на подходе. Сладковатый, резкий, с металлическим оттенком крови. Так пахнет гнилое мясо, пролежавшее на солнце слишком долго. Но к этому примешивался еще один запах — запах горелого мяса и кала. Внутри все сжалось, но я заставила себя идти. Дверь в дом была открыта. Внутри — темнота, вонь, и тихое, мерное жужжание мух. Я вошла, прикрывая рот рукавом, и увидела их.

Мужчина, женщина и ребенок лет десяти. Они сидели у стены, связанные, изуродованные. Но не «Красными»-безумцами. Нет. Их убивали долго — я видела следы пыток. Но глаза... глаза у них были красными. Они были заражены до смерти. Кто-то поймал их, мучил, а потом... потом сожрал. От ребенка остался почти скелет — мясо срезали полосками, будто строгали.

Женщине вспороли живот и вытащили внутренности — их не было. Мужчине разmozжили череп и выскребли мозг ложкой — она так и валялась рядом, ржавая, с присохшими кусками.

Меня вывернуло прямо на пол. Я стояла на коленях в собственной рвоте, трясаясь от ужаса, когда услышала крик Оливера снаружи.

Я выскочила из дома, вытирая рот, и увидела их. Трое зараженных — мужчина с красными глазами, молодой парень и женщина. Они стояли над Оливером, который упал, споткнувшись о корень, и смотрели на него. Не нападали. Просто смотрели. В руках у них были куски сырого мяса — то ли человеческого, то ли звериного, не разберешь.

— Живой, — сказала женщина. — Совсем живой. Не пахнет гнилью. Хочешь, мальчик? — она протянула ему кусок мяса. — Ешь. Это оленина. Мы вчера оленя нашли. Хороший был олень.

— Отойдите от него, — я выскочила вперед, заслоняя брата.

Они посмотрели на меня. Шестеро красных глаз уставились в упор.

— Двое, — сказал мужчина. — Здоровые. Совсем здоровые. Не хотите есть? У нас мясо есть. Мы не кусаемся. Мы не такие, как те, бешеные. Мы разумные.

— Помогите нам, — вдруг сказал молодой парень. Голос у него был почти нормальный, только слегка гнусавый. — Мы не кусаемся. Мы не хотим... не хотим быть одни. Те, бешеные, они жрут всё подряд. И людей, и зверей, и друг друга. А мы... мы просто хотим жить. Мы даже костер разводим. Почти как люди.

— Кто вы? — спросила я, не опуская ножа.

— Мы были людьми, — ответила женщина. — Мы заболели. Но не умерли. Мы думали... думали, что повезло. А это хуже смерти. Люди либо бегут от нас, либо охотятся на нас. А мы просто хотим... хотим жить. Как все.

— Вы заразны, — сказала я.

— Нет, — покачал головой мужчина. — Мы не заразны. Гниль внутри нас, но она не выходит. Мы проверяли. Жили с людьми. Никто не заболел. Но люди все равно боятся. А то, что в доме — это не мы. Это бешеные. Они часто приходят по ночам. Мы от них прячемся.

— А мы от вас прячемся, — ответила я. И, схватив Оливера за руку, побежала.

Они не погнались. Просто стояли и смотрели вслед, жуя свое вонючее мясо.

Три дня мы шли через лес. Три дня прятались от других — безумных, потерявших человеческий облик, которые жрут всё живое и не брезгуют мертвечиной. А эти трое, с красными глазами, остались в памяти странным, болезненным пятном. Почти люди. Почти. Только пахнут смертью.

И вот теперь, на исходе третьего дня, нас настигли другие. Те, кто не говорит. Те, кто только воет и хочет жрать любой ценой.

Тонкий, острый звук разрезает воздух. Мужчина, держащий меня, вдруг замирает. Из его затылка торчит древко арбалетного болта. Глаза — и без того безумные — расширяются, изо рта вырывается булькающий хрип. Он оседает на землю, увлекая меня за собой, и в последний момент царапает мне щеку ногтями, оставляя поверхностные царапины.

Я падаю, вырываю руку, отползаю. Женщина визжит — тонко, по-звериному — и бросается в кусты, но свист повторяется, и второй болт настигает ее в прыжке. Она валится лицом в ежевику, дергается, пытается ползти, скребет землю ногтями, но силы оставляют ее. Она затихает, раскинув руки.

Тишина.

Только жужжание мух, слетающих на свежую кровь, и мое собственное дыхание — хриплое, рваное. И чавканье — кто-то из них еще жив? Нет. Это просто звук крови, вытекающей из ран.

Я смотрю на трупы. Из шеи женщины все еще течет кровь — темная, почти черная. У зараженных кровь гуще, говорят. И пахнет иначе — кислятиной.

Из-за деревьев выходит человек. Он движется бесшумно, словно тень. В руках — арбалет, который он перезаряжает на ходу, не глядя. Глаза холодные, цепкие, сканируют пространство. Он подходит к телу мужчины, переворачивает носком сапога, смотрит на лицо.

— Готов, — констатирует он буднично. Подходит к женщине. — И эта тоже. Жрать хотели, твари. Ну теперь нажрались.

Потом поворачивается к нам.

Я впервые вижу его лицо. Лет тридцать, может, чуть больше. Темные волосы, коротко стриженные, обветренное лицо, глубокие морщины у глаз. На нем грубая куртка из кожи, на поясе — нож, второй, и сумка с припасами. Глаза — усталые, но живые. Не бешеные, не пустые. Просто усталые. Он смотрит на трупы без жалости, без отвращения — как на реквизит.

— Живы? — спрашивает он коротко.

Я киваю, не в силах говорить.

— Повезло, — он подходит ближе, присаживается на корточки, смотрит на рану Оливера, потом на мою щеку. — Царапина. Неглубокая. Промоешь — заживет.

— Ты кто такой? — выдавливаю я.

— Гноится. Давно? — он смотрит на рану Оливера.

— Три... три дня.

— Плохо, — он качает головой. — Но не Гниль, обычное заражение. Выживет, если достать лекарство. А эти... — он кивает на трупы, — эти просто жрать хотели. Они не виноваты, что родились такими. Но убить пришлось. Иначе вас бы сожрали. Я таких навидался — от них только мокрое место остается.

— Ты... ты кто? — спрашиваю я.

— Меня зовут Коул, — отвечает он. — А вам надо в Элизиум. Там лекари есть. Они помогут.

— Элизиум?

— Поселение. День пути, если быстро идти. — он смотрит на мою ногу (я даже забыла, что она болит, адреналин сделал свое). — Дойти сможешь?

— Смогу.

Он кивает. Потом, не спрашивая разрешения, легко подхватывает Оливера на руки. Тот пытается вырваться, но Коул лишь крепче прижимает его к себе.

— Не дергайся, парень. Я не трону. Я спасаю, а не жру. Идите за мной. Тут недалеко безопасное место есть.

И он идет по лесу, не оборачиваясь. Я ковыляю следом, цепляясь за ветки, сжимая зубы от боли. В голове пустота. \

Мы идем долго. Лес сменяется оврагами, овраги — ручьями. Коул петляет, иногда останавливается, прислушивается, смотрит на следы. Один раз он сворачивает в сторону, обходя поляну, на которой я замечаю свежий отпечаток большой медвежьей лапы и рядом — обглоданный человеческий череп.

— Меньше встреч — дольше жизнь, — бросает он, заметив мой взгляд. — Тут и звери, и твари. Все жрать хотят.

Я молчу. Нужно экономить силы.

Оливер на руках у него то ли спит, то ли теряет сознание. Лицо брата белое, губы потрескались. Я боюсь, что он не доживет до этого Элизиума.

— Далеко еще? — спрашиваю я, когда сил терпеть боль уже почти не остается.

— Ближе, чем было, — отвечает Коул. И, помолчав, добавляет: — Ты молодец, что не бросила брата. Многие бросают. Я таких видел. Нелюди.

— Он у меня один.

— Я понял.

Мы снова идем. Лес редет. Впереди шум воды — ручей превращается в реку. Коул ведет нас вдоль берега, потом неожиданно сворачивает в заросли ольхи. Ветки смыкаются за спиной, и через пару минут мы оказываемся перед скалой. Просто скала, поросшая мхом, с которой стекают струи воды.

— Здесь, — Коул подходит почти вплотную, и только тогда я замечаю щель — узкую, почти незаметную, скрытую за водяной завесой.

За водопадом.

Он протискивается внутрь, я за ним.

Пещера. Небольшая, но сухая. В глубине — следы кострища, куча сухой листвы, похожая на лежанку, несколько самодельных полок с припасами. Здесь пахнет дымом, старой кожей, сушеными травами и еще чем-то неуловимо домашним. На одной из полок — несколько банок с консервами, мешочек с крупой, связка сушеных грибов. В углу — сложенные кости. Звериные, кажется...

— Я положу его вот сюда, — Коул кивает на лежанку, осторожно опуская Оливера. Брат открывает глаза, оглядывается помутненным взглядом, но молчит.

Я опускаюсь рядом, трогаю его лоб. Горячий. Слишком горячий.

— У него жар, — говорю я вслух.

— Вижу, — Коул уже возится у своих припасов. Достает флягу, какую-то тряпку, сушеные листья. — Рана грязная была?

— Я промывала, чем могла. Травы жевала, прикладывала.

— Дай посмотрю, — он подходит, присаживается рядом.

Я колеблюсь секунду, потом отодвигаюсь, позволяя ему осмотреть плечо Оливера. Коул действует уверенно, но осторожно — снимает самодельную повязку, осматривает рану, нюхает. Края раны воспалены, гноятся, пахнет неприятно.

— Плохо, но не смертельно, — заключает он. — Надо почистить и прижечь. И нужно нормальное лекарство. В Элизиуме есть лекари, достанут, что нужно. Там с этим строго, но можно попробовать достать.

— Когда пойдем? — спрашиваю я с надеждой.

— Завтра, — кивает Коул. — Скоро ночь, по темноте в лесу лучше не бродить. Твари ночью активнее. Да и вам отдохнуть надо.

Он начинает обрабатывать рану — промывает какой-то жидкостью из фляги (Оливер шипит от боли, но терпит, только кусает губы), прикладывает сухие листья, заматывает чистой тряпкой. Я смотрю на его руки — они грубые, в мозолях и шрамах, но двигаются с удивительной мягкостью.

— Ты не пойдешь с нами? — спрашиваю я, заметив, что он сказал «вам».

Коул замирает на секунду, потом продолжает бинтовать.

— Я провожу до ворот. Внутрь не войду.

— Почему?

— Потому что я там был и ушел, — в его голосе звучит что-то тяжелое, давнее. — И назад мне нельзя. Там свои законы. Не для меня.

— А для нас?

— Для вас — может быть. Вы здоровые, не зараженные. Сгодитесь как рабочая сила. — он затягивает узел на бинте. — Но ты смотри. Доброта там тоже продается. За деньги, за услуги, за послушание. Нужно быть осторожнее.

Слово «послушание» звучит в тишине пещеры как-то неправильно. Но я слишком устала, чтобы спрашивать.

Коул заканчивает с бинтами, встает, отходит к выходу. Садится на камень, достает нож и начинает точить. В свете угасающего дня, проникающего сквозь водяную завесу, он похож на статую.

Я смотрю на Оливера. Он дышит ровнее, жар, кажется, немного спал. Или мне просто хочется так думать.

— Коул, — зову я тихо. — Те зараженные... которые напали... они ведь были бешеные? Он не оборачивается.

— Эти — да, — говорит он после паузы. — Эти уже потеряли себя. Гниль доедает мозг, и остается только жор. Они жрут всё — зверей, людей, своих даже. Таких нужно убивать не раздумывая. Это не лечится.

— Мы видели других, которые ведут себя не агрессивно.

— Да, есть и такие, — кивает он. — Другие зараженные, у которых сохранился здравый ум. Они едят мясо животных, но не охотятся на людей. Пытаются как-то держаться за остатки человечности. Иногда близко подходят к поселениям. Но их не пускают, потому что боятся.

— А ты?

— А что я? — он пожимает плечами. — Я мимо прохожу. Если не нападают — не трогаю. Они не виноваты, что заболели. Им и так хреново.

Я молчу, переваривая услышанное. Смотрю на свои руки — в грязи, в крови. На плече — след от укуса, саднит. Если он был заражен...

— Не бойся, — говорит Коул, будто читая мысли. — Если б заразилась — уже бы глаза краснели. А у тебя нормальный цвет. Заживет.

Легче не становится. Но я киваю.

Водяная завеса шумит, заглушая звуки леса. Где-то далеко слышен вой. Волк. Или зараженный. А может, просто ветер. Я прижимаюсь к Оливеру, закрываю глаза.

Ночь опускается на лес. Я засыпаю под звук скребущего по металлу лезвия, и впервые за долгое время мне не снятся кошмары.

Только красный закат над лесом и чья-то тень на его фоне.

Я еще не знала тогда, что лицо человека, который спасет тебе жизнь, может стать самым родным — и самым потерянным — в твоей судьбе. И что зараженные с красными глазами — не всегда чудовища. Иногда чудовища выглядят совсем как люди. А иногда люди выглядят как чудовища, но остаются людьми до конца. И что самый страшный голод — это не голод по еде. Это голод по теплу. По дому. По тем, кто станет для тебя этим домом.

Глава 2. Трое в лесу

Я просыпаюсь от тишины.

Сначала не понимаю, что меня разбудило. В пещере всё тот же полумрак, водяная завеса шумит за спиной, заглушая звуки внешнего мира. Но внутри — тишина. Та особая, глубокая тишина, которая бывает только в очень надежных местах. Или мне просто кажется.

Открываю глаза. Свет просачивается сквозь воду, окрашивая всё в зеленовато-серые тона. Я лежу на куче сухой листвы, рядом — Оливер. Он дышит тяжело, с хрипами, и каждый его вдох отдается у меня в груди тупой болью. Кладу ладонь ему на лоб — горячо. Слишком горячо. Под пальцами кожа сухая, шелушащаяся, и этот жар пугает меня больше, чем любой кошмар.

Он что-то бормочет во сне, мотает головой, и я вижу, как дергаются веки — сны ему снятся страшные. Наверное, похожи на мои. Только мне сейчас не до сна.

Коула у входа нет. Камень, на котором он сидел ночью, пуст, только нож его лежит рядом — длинный, с темным лезвием, по которому скользят отблески воды. Я сажусь, морщась от боли в спине — спала в неудобной позе, боясь пошевелиться и разбудить брата. Тело затекло, нога от колена до щиколотки пульсирует тупой болью.

На полу, у входа, стоит фляга с водой и лежит сложенный квадратик чистой ткани. Я не помню, чтобы это было здесь, когда засыпала. Значит, Коул оставил, пока я спала. Оглядываюсь. При свете дня пещера кажется больше, чем ночью. Свод уходит вверх, теряясь в темноте, стены неровные, в трещинах. У стены стоит полка с припасами Коула. Я рассматриваю их с жадностью: банки с консервами, мешочки из грубой ткани, связки сушеных грибов и трав. Рядом — шкура, грубо выделанная, пахнет кожей и чем-то кислым.

— Проснулась.

Голос раздается за спиной так неожиданно, что я подскакиваю, сердце ухает куда-то вниз, в живот, и начинает колотиться с бешеной скоростью. Обернувшись, вижу Коула — он стоит у самого входа, держа в руках охапку хвороста и какой-то пучок зелени. Как он вошел так тихо? Я не слышала ни шагов, ни шороха.

— Нельзя так подкрадываться, — выдыхаю я, прижимая ладонь к груди. Сердце колотится так, что, кажется, ребра трещат.

— Я не подкрадывался, — говорит он спокойно, опуская хворост на землю. — Ты просто не слышала. Шум воды заглушает шаги.

Он присаживается на корточки у старого кострища, начинает разводить огонь. Я смотрю на его руки — они двигаются быстро, уверенно, видно, каждое движение отработано годами практики. Вот он складывает сухие ветки шалашиком, вот подносит огниво, высекает искру. Трут зажигается сразу, пламя перекидывается на хворост, и через минуту в пещере становится светлее и теплее.

При свете огня лицо Коула кажется еще более усталым. Глубокие морщины у глаз, темные круги под ними, щетина. Но взгляд цепкий, внимательный, он успевает смотреть и на огонь, и на меня, и на вход в пещеру одновременно.

— Есть будешь? — спрашивает он, не смотря в мою сторону.

Я смотрю на Оливера. Он не просыпается, только дышит тяжело, с присвистом. Грудь поднимается и опускается неровно, слишком часто.

— Ему нужно лекарство, — говорю я тихо. — И еда. Он не ел второй день.

Коул протягивает мне ту самую зелень, что принес — тонкие стебли малины с шипами, пахнет горьковато, землей. Мама когда-то собирала такие же, чтобы заваривать ароматный чай.

— Заваришь, напоишь брата, — говорит Коул. — Жар немного спадет. А еда...

Он кивает на полку, где стоят банки с консервами. Я прослеживаю взглядом и видит ту, на которую он указал — старая, поцарапанная, с облупившейся этикеткой. Тушенка. Настоящая армейская тушенка.

У меня внутри что-то сжимается — то ли от голода, то ли от непрошенной надежды. Мы не ели такого... я даже не помню когда. Месяцы. Может быть, год. В лучшие времена удавалось найти сухари, иногда крупу. А мясо... мясо было только если повезет поймать птицу или найтидохлятину, которую не успели сожрать звери.

— Это же ценно, — говорю я, и голос звучит хрипло. — Зачем ты нам отдаешь?

Коул смотрит на меня.

— Затем, что брат твой умрет без еды, — отвечает он буднично. — А мне мертвецы не нужны. Ни здесь, ни там.

Он подходит к стеллажу у стены, достает маленький почерневший котелок, протягивает мне.

— Вода за водопадом. Набери, свари чай брату.

Я беру котелок. Металл холодный, шершавый от сажи. Встаю, морщась от боли в ноге, иду к выходу.

Водяная завеса встречает меня холодными брызгами. Я подставляю котелок под струю, смотрю, как наполняется мутной, пузырящейся водой. За ней — лес. Я вижу его сквозь водяную пелену — темный, плотный, с высокими деревьями, уходящими в серое утреннее небо. Где-то там кричит птица, и этот звук кажется таким мирным, таким обычным, что на секунду я забываю, где мы и что с нами случилось.

Потом вспоминаю. И возвращаюсь в пещеру.

Коул уже развел огонь по-настоящему — пламя весело потрескивает, отбрасывая на стены пляшущие тени. Я ставлю котелок на камни у огня, засыпаю травы. Вода закипает быстро, запах разносится по пещере — ароматный, травяной.

— Спасибо, — говорю я, не глядя на Коула. Слова выходят сами, и я понимаю, что говорю их искренне.

Он молчит. Сидит у входа, прислонившись спиной к стене, и смотрит на меня. Взгляд у него пронизательный, изучающий — так смотрят на незнакомцев, от которых не знаешь, чего ждать.

Я отвожу глаза, смотрю на Оливера. Он мечется во сне, бормочет что-то, руки сжимаются в кулаки. Наверное, опять снится тот день, когда мама ушла добывать еду и не вернулась. Ему это часто снится.

Коул молчит долго, так долго, что я начинаю думать — может, он уснул с открытыми глазами? Но когда поднимаю взгляд, вижу — не уснул, просто тихо наблюдает.

— Рассказывай, — говорит он наконец.

— Что?

— Кто вы, откуда, куда шли. Мне надо знать.

Я молчу, разглядывая свои руки. Грязные, в царапинах, ногти обломаны, под ними черная кайма въевшейся земли. На пальцах свежие царапины от веток. Не очень-то хочется рассказывать незнакомцу свою историю. В этом мире правда может стать оружием против тебя.

Но он спас нас. Накормил. Лечит Оливера. Может, имеет право знать.

— Мы с востока пришли в этот лес, — начинаю я нехотя. Голос звучит глухо, слова приходится выдавливать. — Там были руины города, мы жили в подвале. Теплом там и не пахло, но крыша над головой — уже роскошь. Потом пришли зараженные. Бешеные.

Замолкаю. Воспоминания накатывают тяжелой волной. Вспоминаю тот последний день, перед уходом из города. Крики, кровь на снегу, Оливер, которого я тащила за руку через какой-то пролом в стене, не чувствуя, что мне самой разодрало ногу об арматуру.

— Мы убежали из города, — продолжаю я через силу. — Шли к западу, люди говорили, что там есть поселения.

— Кем вы были до этих событий? — спрашивает Коул. В голосе нет любопытства, скорее слышится необходимость.

Я усмехаюсь, но усмешка выходит горькой.

— Из обычной семьи. Мама, папа, дом, учеба. Все было как у всех. До того как мир сдох.

Коул молчит, ждет.

— Отец просто свалил от нас, когда началась эпидемия. О нем с тех пор мы ничего не слышала. Маму загрызли в первый год, — говорю я, и слова падают в тишину тяжелыми камнями. — Мы тогда были не одни, с нами были соседи, решили, что вместе шансы выжить куда выше. Так вот, еда кончалась, мама отправилась с Томом, соседом с верхнего этажа, в соседний квартал в поисках съестного. Спустя пару часов вернулся только Том, сообщил, что её больше нет. Тогда мы еще думали, что необходимо помогать друг другу.

Глаза начинает щипать, но я не плачу. Я давно разучилась плакать.

Коул молчит. Смотрит куда-то в стену, мимо меня.

— А Оливер? — спрашивает он тихо.

— Он у меня один остался, — я смотрю на брата. Он мечется во сне, губы шевелятся, будто шепчет что-то. — Я его таскаю с собой четыре года. Четыре года. Представляешь? Мы остались одни, я чувствовала ответственность не только за себя, но и за брата. Часто я не знала, где найти еду, где укрыться от холода, выживем ли мы вообще. Но мы выжили. А теперь...

Голос срывается. Я закусываю губу до крови.

— Выживете, — голос Коула звучит жестко, почти грубо. — Хватит раскисать. Ему нужна твоя сила, а не слезы.

Я смотрю на него — и чувствую странную смесь благодарности и обиды. Он прав, конечно. Но как же хочется, чтобы кто-то просто пожалел. Сказал, что все будет хорошо. Даже если это неправда.

— А ты откуда? — спрашиваю я, чтобы не молчать.

Коул смотрит на меня долго, изучающе.

— Из Элизиума, — отвечает коротко.

— Того самого, о котором говорил?

— Того самого.

— И почему ушел?

Он молчит так долго, что я уже думаю — не ответит. Смотрит на огонь, на стены, на свои руки. Потом говорит:

— Не сошелся характерами с местным руководством.

— С кем?

— С теми, кто там главный. Кассиан и его сынок. Им власть нужна, а я в подчинении ходить не умею.

— И что, отпустили?

— Не отпустили, — он усмежается, но усмешка выходит невеселой. — Я ушел. Ночью, через стену. Меня искали, но не нашли. С тех пор я здесь.

— А назад почему нельзя?

— Потому что убьют, если увидят, — пожимает плечами Коул. — Дезертир. Предатель. По их законам — смерть.

Смотрю на него с интересом. Значит, он тоже беглец. Тоже не вписался в систему.

— А там плохо?

— По-разному, — он отводит взгляд. — Еда есть, стены крепкие, заразы нет. Но за все нужно платить. Работой. Послушанием. И прав у тебя никаких нет по сути. Кто стоит во главе общины, тот и прав. А главные — Кассиан и его приближенные. Остальные — скот.

— Тогда зачем же ты нас туда ведешь?

Он смотрит на меня в упор, и в этом взгляде отражается усталость и какая-то обреченность.

— А есть выбор? Оливеру лекарство нужно. Я могу только до ворот довести, а там решайте сами.

Я хочу спросить еще о чем-то, но в этот момент Оливер стонет, открывает глаза. Мутные, непонимающие, они шарили по пещере, пока не остановились на мне.

— Мэй? — шепчет он. Голос хриплый, сухой. — Мэй, где мы?

Я тут же приближаюсь ему, глажу по голове, по лицу. Кожа горячая, лоб влажный от пота.

— Я здесь, — говорю я тихо. — Мы в безопасности. Нас спасли.

— Кто?

— Тот человек, с арбалетом. Коул.

Оливер переводит взгляд на Коула, смотрит долго, настороженно. Потом снова на меня. В глазах — страх и недоверие.

— Он не причинит нам зла, — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. — Он нам помогает.

Коул встает, подходит к костру, снимает котелок с отваром. Движения у него плавные, спокойные. Наливает в жестяную кружку дымящуюся жидкость, протягивает мне.

— Пусть пьет маленькими глотками.

Я приподнимаю Оливеру голову, подношу кружку к губам. Он пьет, морщится от горечи, но пьет жадно, с жадностью больного, который хочет жить. Потом откидывается на листву, закрывает глаза. Дышит тяжело, но ровнее, чем раньше.

Я смотрю на него, и сердце сжимается от любви и страха. Такой худой, такой бледный. Синяки под глазами, скулы заострились.

— Он поправится? — спрашиваю я, хотя боюсь услышать ответ.

Коул смотрит на Оливера долгим взглядом. Потом переводит глаза на меня.

— Если до Элизиума дойдет — поправится. Если нет, то шансы небольшие.

Он не договаривает.

— Сколько нам идти?

— До полудня успеем, если без остановок. Но с ним придется дольше. Может, до вечера дойдем.

Смотрю на Оливера. Он такой слабый. Сможет ли пройти столько?

— Я донесу, — говорит Коул, будто читает мои мысли.

— Ты?

— А ты с такой ногой далеко уйдешь? — он кивает на мою лодыжку. Я опускаю глаза и вижу, что она распухла, синяя, блестящая. Боль отдается в ней при каждом движении.

— Я справлюсь.

— Справишься, — соглашается он.

Хочется возразить, сказать, что я сама, что это мой брат, моя ответственность. Но я смотрю на свои руки — тонкие, дрожащие от усталости — и понимаю, что он прав. У меня просто нет сил тащить Оливера на себе. Несколько часов, может быть, но не целый день.

— Ладно, — сдаюсь я. И снова: — Спасибо.

— Хватит благодарить, — отмахивается Коул. — Ешьте. Через час выходим.

Я разогреваю тушенку в том же котелке, кормлю Оливера — он ест с трудом, давится, но ест. Мясо жирное, соленое, пахнет так вкусно, что у меня слюны полон рот. Сама давлюсь кусками, стараясь не проглотить слишком быстро, чтобы не вырвало — желудок отвык от нормальной еды.

Коул сидит у входа, не притрагивается к еде. Смотрит в одну точку, на водяную завесу. Я замечаю, как он сглатывает, когда запах тушенки достигает его ноздрей.

— Ты не будешь? — спрашиваю я.

— Я уже ел сегодня.

— Когда?

— Рано утром. Пока вы спали.

Я смотрю на его спину, на худые лопатки под курткой. Не верю ни единому слову. Он не ел. Просто не хочет отнимать у нас. Или привык не есть в присутствии чужих.

Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть на него. Почему-то становится неловко.

Через час мы выходим.

Коул подхватывает Оливера на руки легко, будто тот ничего не весит. Брат в полусне, обмяк, голова свесилась, руки болтаются. Я ковыляю следом, опираясь на палку, которую Коул нашел мне перед выходом.

Выходим из пещеры. Лес встречает нас сыростью и тишиной. Утро серое, небо затянуто тучами, но дождя нет. Только влажный воздух, тяжелый, как перед грозой.

Коул идет быстро, уверенно, выбирая тропы, которых я не вижу. Я едва поспеваю, спотыкаясь о корни, цепляясь за ветки. Нога болит, пульсирует, каждый шаг отдается в ней тупой болью, но я иду. Стиснув зубы, сжимая палку так, что пальцы немеют.

Лес вокруг — живой, пахнущий прелой листвой, грибами, сыростью. Где-то далеко стучат дятел, перекликаются птицы. Если не знать, что мир умер, можно подумать, что это просто обычный лес, каких тысячи.

Но я знаю. Я помню руины городов, обглоданные кости на дорогах, пустые дома с распахнутыми дверями. Помню зараженных — как они воют по ночам, как бродят между деревьями в поисках живого мяса. Помню, что за каждым кустом может таиться смерть.

Поэтому я иду и смотрю по сторонам, сканирую пространство, стараясь заметить любое движение.

— Смотри под ноги, — говорит Коул, не оборачиваясь. — Тут корни, можно ногу подвернуть.

Я смотрю под ноги. Тропа, по которой мы идем, почти не видна — только примятая трава да сломанные ветки указывают путь.

— Ты здесь давно живёшь? — спрашиваю я, чтобы отвлечься от боли.

— С тех пор как ушел из Элизиума. Год, наверное.

— Один?

— Один.

— Не скучно?

— Привык.

Я смотрю на его спину, на широкие плечи, на то, как он осторожно перешагивает через корни, придерживая Оливера. Интересно, что заставило его уйти из безопасного места в лес, полный опасностей? Что там случилось?

Но спрашивать не решаюсь. Не мое дело.

Мы идем долго. Часа два, наверное. Лес не меняется — те же деревья, те же тропы, тот же серый свет. Только боль в ноге становится невыносимой. Но я терплю изо всех сил и продолжаю переставлять ноги.

— Отдохнем, — говорит Коул, останавливаясь у поваленного дерева. — Пять минут.

Он осторожно опускает Оливера на мох, приваливает спиной к стволу. Брат спит, не просыпается, только морщится во сне.

Я падаю рядом, вытягиваю ногу. Лодыжка распухла еще больше, ботинок трещит по швам. Снимаю его, морщась от боли, и вижу, нога все ещё такая же синяя до колена. Плохо. Очень плохо.

Коул смотрит, молчит. Потом достает из сумки какую-то мазь в жестяной баночке, протягивает мне.

— Намажь. Боль облегчит.

Я беру, открываю. Пахнет жиром и травами. Намазываю на лодыжку — холодно, но через минуту боль действительно отпускает. Или кажется.

— Где ты берешь такие вещи? — спрашиваю я.

— Сам делаю, — пожимает плечами Коул. — Травы собираю, настаиваю.

— Ты лекарь?

— Нет. Просто живу долго.

Я смотрю на него с уважением. В этом мире разбираться в травах и их свойствах — дорогого стоит.

— Далеко еще? — спрашиваю я.

— Часов шесть, если так пойдем. К вечеру будем.

Я киваю. Я выдержу.

К вечеру лес начинает редеть. Деревья расступаются, и в просветах между ними я вижу холмы. Высокие, поросшие лесом, с крутыми склонами. А на одном из холмов — стены.

Останавливаюсь, смотрю. Стены высокие, каменные, с башнями по углам. Над ними поднимается дым — несколько тонких струек. Люди. Там люди.

— Элизиум, — говорит Коул, останавливаясь рядом.

Я смотрю на стены, и внутри шевелится надежда. Там есть лекарство для Оливера. Там еда и тепло. Безопасность.

— Что я должна делать? — спрашиваю я, не отрывая взгляда от стен.

— Подойти к воротам, представиться, — отвечает Коул. — Сказать, что нужна помощь. Они впустят. Здоровых, молодых впускают.

— А потом?

— Потом сама увидишь.

Он опускает Оливера на землю, осторожно, чтобы не разбудить. Смотрит на меня долгим взглядом.

— Дальше я не пойду.

— Почему? — спрашиваю я, хотя знаю ответ.

— Нельзя мне туда, — говорит он. — Но я сделал, что обещал.

Смотрю на него и чувствую странную пустоту внутри.

— Может... — начинаю я, но не знаю, что сказать.

— Не может, — перебивает Коул. — Иди. Скоро ворота запрут на ночь.

Он протягивает мне небольшой узелок — припасы. И нож.

— Возьми. Пригодится.

— А ты?

— У меня есть.

Я беру нож. Тяжелый, рукоять теплая от его руки.

— И Мэй, не верь доброте. Люди носят маски.

— Спасибо, Коул, — шепчу я, чувствуя, как к горлу подступает ком.

Он кивает. Смотрит на меня еще секунду, потом разворачивается и уходит в лес. Быстро, бесшумно, как тень.

Я стою, глядя ему вслед, и чувствую, как по щеке ползет слеза. Не от страха. От чего-то другого.

Потом подхватываю Оливера под мышки, тащу к воротам. Нога болит, но я иду. Ради него. Ради нас.

Ворота приближаются медленно. Я вижу стражников на башнях — они смотрят вниз, на меня. Скрипят петлями — ворота открываются.

— Кто такая? — окликают сверху.

— Мэй, — кричу я в ответ. — Мой брат ранен. Помогите.

Пауза. Потом голос:

— Заходи.

Я захожу. Ворота закрываются за спиной с тяжелым лязгом.

И я еще не знаю, что только что обменяла свою свободу на клетку.

Глава 3. Элизиум

Ворота закрываются за моей спиной с тяжелым, протяжным лязгом, и этот звук отдается у меня внутри чем-то очень похожим на панику. Я стою, прижимая к себе ослабевшего Оливера, и смотрю на створки — массивные, окованные железом, высотой метра четыре. Они сходятся с глухим стуком, и последний луч закатного солнца гаснет, словно его отрезали ножом.

Я в ловушке.

Мысль приходит неожиданно, холодная и липкая, и я пытаюсь отогнать ее. Нет, это не ловушка. Это спасение. Здесь стены, здесь люди, здесь лекарства. Здесь Оливеру помогут. Я повторяю это про себя, как молитву, но сердце все равно колотится где-то в горле, и ладони становятся влажными.

Вокруг — двор, вымощенный камнем, ровные ряды построек, люди, которые смотрят на нас с любопытством и настороженностью. Пахнет дымом, хлебом и еще чем-то — чистотой, что ли? После леса, после запаха прелой листвы и гниющей плоти зараженных этот запах кажется неестественным, почти пугающим.

— Не стой, — грубый голос заставляет меня вздрогнуть.

Один из стражей, что открывали ворота, кивает в сторону длинного здания справа. Другой уже взял Оливера под руку, и брат смотрит на меня испуганными глазами, пытается что-то сказать, но дыхания не хватает.

— Куда вы его? — вырывается у меня, и я хватаю стража за рукав. — Он мой брат! Я должна быть с ним!

Страж смотрит на мою руку, потом мне в лицо. Взгляд у него равнодушный, усталый, таких взглядов я много видела за эти годы — люди, которым всё равно.

— В лазарет его, — отвечает он коротко. — А тебе к смотрительнице. Потом увидите.

— Когда потом? — не унимаюсь я.

— Сказано — потом, — он уводит Оливера, который оглядывается на меня через плечо, пока его не заталкивают в какую-то дверь.

Я стою, глядя на закрывшуюся дверь, и чувствую, как внутри разрастается паника. Оливер всегда был со мной. Четыре года мы не разлучались ни на день. А теперь его забрали, и я даже не знаю, куда и зачем.

— Пошли, — второй страж трогает меня за плечо.

Я иду за ним, механически переставляя ноги, спотыкаясь на ровном месте. Нога все еще болит, распухшая лодыжка пульсирует, но я стараюсь не хромать слишком заметно — не знаю, как здесь относятся к слабости, но лучше не рисковать.

Мы проходим мимо нескольких домов — аккуратных, каменных, с черепичными крышами. Люди смотрят на меня, провожают взглядами, перешептываются. Я слышу обрывки фраз: "...новенькая", "...чужая", "...с братом, говорят". Чувствую себя зверем в клетке, на которого пришли поглазеть.

Страж останавливается у двери одного из домов, стучит. Изнутри доносится женский голос:

— Войдите.

Мы входим.

Внутри — небольшая комната, чистая, с грубой деревянной мебелью. За столом сидит женщина. Лет сорок, наверное, сухая, поджарая, с лицом, которое когда-то могло быть красивым, а теперь стало просто жестким. Волосы стянуты в тугий пучок, глаза цепкие, быстрые — такие глаза бывают у людей, которые привыкли оценивать, сортировать, решать.

— Новичок? — спрашивает она, глядя на меня.

— С запада, — отвечает страж. — С братом. Парня в лазарет отправили, раненый.

— Хорошо, — женщина кивает. — Свободен.

Страж уходит, закрывая за собой дверь. Я остаюсь одна с ней. Тишина давит на уши.

— Меня зовут Сара, — говорит женщина. — Я здесь смотрительница. Отвечаю за распределение и учет новых жителей. Садись.

Я сажусь на табурет напротив. Подо мной что-то скрипит.

— Имя?

— Мэй.

— Сколько лет?

— Двадцать. Двадцать один, — поправляюсь я. Я уже и забыла, когда в последний раз считала.

— Откуда?

— С востока. Шли через лес. Несколько дней.

— Чем занималась до того? — Сара смотрит на меня в упор. — Работать умеешь?

— Умею. — Я не знаю, что именно она хочет услышать. — В лесу выживала. Охотиться умею, капканы ставить, травы собирать. Стирать, убирать — тоже.

Сара кивает, делает какие-то пометки на листке бумаги — настоящей бумаге, желтоватой, исписанной убористым почерком.

— Грамотная?

— Да.

— Хорошо. — Она поднимает глаза. — Здесь, в Элизиуме, мы все работаем. Каждый должен приносить пользу. За это получаешь еду, кров, защиту. Ясно?

— Ясно.

— Брат твой в лазарете. Рана у него серьезная, но не смертельная. Лекари займутся. Ты сможешь навещать его, но не сразу. Пусть сначала окрепнет. И не каждый день — работа есть работа. Нож и припасы конфискуем. Со своим нельзя, холодное оружие — тоже нельзя.

— Как часто я смогу его видеть? — спрашиваю я.

Сара смотрит на меня долгим взглядом.

— Раз в неделю, — отвечает она. — Если будешь хорошо работать — может, чаще.

Раз в неделю. Я сглатываю, пытаюсь не показать, как сильно это меня ранит. Но спорить бесполезно. Я уже поняла — здесь не спорят. Здесь слушают и делают, что сказано.

— Теперь про тебя, — продолжает Сара. — Ты здоровая, молодая. Работы много. Пока определим тебя в общий барак, внешний круг. Там живут такие же, как ты — недавно пришедшие, временные. Потом, если зарекомендуешь себя, переведут ближе к центру.

— А что нужно делать, чтобы зарекомендовать?

— Работать, — усмехается Сара. — Не жаловаться, не нарушать правил. Здесь простые законы, Мэй. Делай, что велят, не суй нос не в свое дело, и проживешь долго. А если начнешь права качать — пеняй на себя.

Я молчу, перевариваю.

— Тебя проводят в барак, — Сара встает, давая понять, что разговор окончен. — Завтра утром получишь наряд на работу. И запомни: первое время не высовывайся. Смотри, слушай, учись. Здесь свои порядки, к ним надо привыкнуть.

Она протягивает мне небольшой деревянный жетон с выжженной цифрой.

— Это твой номер. Не потеряй. Будешь получать еду по нему.

Я беру жетон. На ощупь он грубый, с заусенцами.

— Спасибо, — говорю я машинально.

Сара кивает и зовет какого-то парня, который ждал за дверью.

— Проводи новенькую в седьмой барак.

Барак оказался длинным низким зданием из серого камня, с маленькими зарешеченными окнами и тяжелой дверью. Внутри пахло так, что у меня зашипало в носу — потом, грязью,

болезнями, и поверх всего этого чувствовалась едкая химическая вонь, какой-то дешевый дез-инфектор, который не убивает запах, а смешивается с ним, делая еще противнее.

Вдоль стен стояли двухъярусные койки, набитые соломенными тюфяками. На некоторых лежали люди, на некоторых — просто кучи тряпья. Кто-то кашлял в углу, кто-то тихо переговаривался. Воздух был тяжелым, спертый, дышать им было все равно что пить болотную воду.

Мой провожатый ткнул пальцем в свободную койку на нижнем ярусе — узкую, с продавленным тюфяком и серым одеялом, в котором я без труда угадала следы чьей-то крови.

— Твоя, — сказал он и ушел, даже не обернувшись.

Я стояла посреди барака, сжимая в руке жетон, и чувствовала, как на меня смотрят. Десятки глаз — усталых, равнодушных, любопытных, злых. Я была здесь чужой, а чужих в таких местах не любят.

— Новенькая? — раздался голос справа.

Я повернулась. На соседней койке сидела девушка — молодая, может, чуть младше меня, с коротко стриженными темными волосами и длинным неровным шрамом через всю левую щеку. Шрам был старый, белесый, но все равно бросался в глаза. Девушка смотрела на меня без враждебности, скорее с любопытством.

— Мэй, — ответила я.

— Лина, — кивнула она. — Давно пришла?

— Только что. А ты?

— Давно, — она усмехнулась.

Я села на свою койку. Пружины жалобно скрипнули.

— А это что у тебя? — Лина кивнула на жетон в моей руке.

— Номер. Для еды, сказали.

— А, ну да. Будешь с ним в столовую ходить. Потеряешь — не дадут, пока нового не выпросишь. А выпросить — та еще морока.

Я спрятала жетон в карман.

— Слушай, — сказала я тихо, — а здесь... здесь как вообще? Я имею в виду, правила, люди...

Лина посмотрела на меня долгим взглядом, потом перевела глаза куда-то за мою спину. Я обернулась — там, у входа, стоял мужчина в форме стражи, просто смотрел в нашу сторону, но Лина замолчала и отвела взгляд.

Когда страж ушел, она наклонилась ко мне ближе и зашептала:

— Первое правило: не привлекай внимания. Работай, молчи, делай, что велят. И главное — не лезь к тем, кто из храма. К руководству, значит. Заметят — конец.

— Почему?

— Потому что они забирают, кого хотят, — в голосе Лины появилась горечь. — Особенно молодых. Особенно девушек. И никто не знает, что с ними потом происходит. Они не возвращаются.

У меня внутри похолодело. Я вспомнила слова Сары: "Не суй нос не в свое дело".

— А ты откуда знаешь? — спросила я.

— Видела, — коротко ответила Лина и отвернулась.

С другой стороны ко мне подошла пожилая женщина — худая, сгорбленная, с руками, похожими на птичьи лапы. Она несла миску с какой-то серой жижей и ложку.

— На, поешь, — сказала она, протягивая миску мне. — Первый день всегда тяжело. А силы тебе понадобятся.

Я взяла миску, заглянула внутрь. Жиж пахла крупой и еще чем-то неуловимо постным, но есть хотелось так, что я готова была проглотить что угодно.

— Спасибо, — сказала я. — А вы...

— Марта, — представилась женщина. — Я здесь давно. Всех новеньких подкармливаю. Ты не бойся, привыкнешь. Здесь можно жить.

— Здесь можно выживать, — поправил чей-то голос с верхней койки.

Я подняла голову. Оттуда на меня смотрел старик — лет семидесяти, с седой щетиной и умными, живыми глазами. Он чинил ботинок, ловко обращаясь с шилом и дратвой.

— Томас, — представился он. — Здесь каждый тебе что-то скажет, но правда у каждого своя. А вообще, главное — работай и не высовывайся. Остальное приложится.

— Мне бы брата проведать, — сказала я. — Его в лазарет забрали. Сказали, раз в неделю можно навещать...

— Можно, — кивнул Томас. — Если будешь хорошо работать. А если плохо — то и вообще не пустят. Здесь всё просто: делаешь — получаешь. Не делаешь — не получаешь. И не только еду.

— А что еще?

Томас посмотрел на меня внимательно, потом перевел взгляд на Лину.

— Девочка, ты ей объясни, — сказал он. — А мне спать пора.

Он отвернулся к стене, давая понять, что разговор окончен. Я посмотрела на Лину. Она молчала, глядя в стену.

— Что он имел в виду? — спросила я тихо.

Лина вздохнула, повернулась ко мне. Глаза у нее были усталые, взрослые не по годам.

— Здесь всё решают те, кто наверху, — сказала она. — Кассиан и его приближенные. Они могут дать тебе работу полегче, еду получше, место потеплее. А могут отправить в ущелье. И никто не спросит, хочешь ты или нет.

— В ущелье?

— Это там, где... — Лина запнулась. — Короче, туда отправляют тех, кто не нужен. Больных, старых, тех, кто не может работать. И тех, кто не угодил.

Я сглотнула. В ущелье. Значит, вот как здесь избавляются от лишних.

— А ты? — спросила я. — Ты как здесь оказалась?

Лина отвела глаза. Провела пальцем по шраму на щеке — движение привычное, автоматическое, будто она делала это тысячу раз.

— Мы пришли сюда три года назад, — сказала она тихо. — Я, мать и отец. Тогда мне было тринадцать. Мы шли с юга, из города, который сгорел в первый год. Думали, здесь спасемся.

— И что случилось?

— Отец поранился в дороге, — голос Лины стал совсем тихим, мне приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова. — Царапина была, ерундовая. Но через неделю у него глаза покраснели. Мать не захотела его бросать. Скрывала, пока могла. А когда узнали... — она замолчала, сглатывая.

Я не торопила. В таких историях паузы важнее слов.

— Их забрали стражи, — продолжила Лина. — Прямо на моих глазах. Уводили через площадь, а народ смотрел. Мать кричала, чтобы я не боялась, что все будет хорошо. Отец молчал. Он уже почти не говорил тогда.

— А ты?

— А меня оставили, — она усмехнулась, но усмешка вышла кривой, болезненной. — Проверили кровь, глаза, кожу — чистая. Сказали, что если буду работать и слушаться, то, может быть, заслужу прощение за грехи родителей. За то, что они заболели, представляешь? Будто они сами выбрали.

Я смотрела на ее шрам и понимала, что это не просто отметина. Это память о чем-то нехорошем. Может, она пыталась бежать за ними, может, упала, может, кто-то ударил. Спрашивать не стала.

— А что произошло с родителями? — спросила я осторожно.

— Ущелье, — коротко ответила Лина.

Она отвернулась к стене, давая понять, что разговор окончен. Я смотрела на ее худые плечи, на острые лопатки под тонкой тканью, и думала о том, что мы все здесь — ходячие раны. У каждого своя, невидимая. Или видимая, как у Лины.

— Прости, — сказала я шепотом.

Она не ответила. Только дернула плечом, мол, бывает.

Я лежала на своей койке, смотрела в потолок и думала об Оливере. О том, что буду делать, если с ним что-то случится. О том, что Лина как-то живет после этого. Значит, и я смогу.

Надо только не сдохнуть раньше времени.

Глава 4. Обещание

Первый день в Элизиуме начинается задолго до рассвета.

Меня будят грубый окрик и чья-то рука, трясущая за плечо. Я подскакиваю на койке, не понимая, где я, сердце колотится где-то в горле, и только через секунду вспоминаю: барак, чужаки, вчерашний день. Вокруг темно, только редкие масляные лампы дают тусклый свет, в котором шевелятся тени — люди встают, натягивают одежду, молча собираются.

— Новенькая? — надо мной стоит женщина в грубой одежде, с лицом, похожим на печеное яблоко — все в морщинах, но глаза живые, цепкие. — Вставай, соня. Сегодня твой первый выход. Покажу, что к чему.

Я сажусь, тру лицо ладонями. Тело ломит после вчерашней дороги и сна на жестких досках, нога ноет, лодыжка все еще распухла. Но жаловаться нельзя. Здесь, кажется, вообще нельзя ничего.

Женщину зовут Клара. Она ведет меня и еще нескольких человек через темный двор к длинному каменному зданию, откуда доносится запах прелой воды и щелока. Прачечная. Внутри жарко, пар стоит столбом, в огромных чанах кипит вода, и десятки женщин склонились над корытами, стирая горы белья.

— Будешь здесь работать, — Клара кивает на пустое место у одного из корыт. — Стирать вещи. Работа простая, но грязная. Справишься?

Я киваю.

Клара объясняет, что к чему: замачивать, тереть, полоскать, выжимать. Белье здесь не свое стирать нужно — чужое, с жирными пятнами, с запахом пота и болезней. От некоторых вещей пахнет так, что меня подташнивает, но я зажимаю нос и работаю.

Руки быстро краснеют от горячей воды, кожа на ладонях размокает, потом начинает саднить. Мы стираем без остановки — кажется, этой горе нет конца. Сменяются партии белья, подносят все новые корзины, и я уже перестаю думать, просто механически тру, полощу, выжимаю.

Рядом работают другие женщины — молчаливые, с опущенными глазами. Никто не разговаривает. Только шум воды, скрип корыт, изредка кашель. Иногда заходит надсмотрщица — полная женщина с палкой в руке, — проходит между рядами, смотрит, все ли работают. Если кто-то останавливается — окрик, а то и удар. Я видела, как одна пожилая женщина замешкалась, и палка опустилась ей на спину. Она даже не вскрикнула, только сжалась и засуетилась быстрее.

К обеду я уже не чувствую рук. Пальцы стерты до мозолей, вода въелась в кожу, и каждая складка болит. Когда звучит гудок — перерыв на еду, — я едва стою на ногах.

Столовая для чужаков — длинный сарай с грубыми деревянными столами. В очереди дают миску баланды — жидкой похлебки из крупы и воды, с плавающими кусочками чего-то, что отдаленно напоминает овощи. И кусок хлеба — черствого, серого, но хлеба. Я жадно глотаю, обжигаясь, потому что есть хочется так, что сводит желудок.

Лина садится рядом. Я замечаю, что она ест быстро, но аккуратно, оглядываясь по сторонам.

— Ну как первый день? — спрашивает она тихо.

— Нормально, — отвечаю я, хотя руки трясутся от усталости.

— Это только начало, — усмехается она. — К вечеру будешь валиться с ног. Первую неделю всегда так. Потом привыкнешь.

— Ты тоже здесь стираешь?

— Нет, я на кухне, — Лина показывает руки — у нее они тоже красные, но не такие распухшие, как у меня. — Чищу овощи, мою посуду. Тоже тоска, но хоть тепло и иногда перепадает что-то съестное.

— А Оливер? — я понижаю голос. — Ты ничего о нем не слышала?

Лина кивает:

— Слышала. Он в лазарете. Ему лучше, рану почистили, залатали, жар спал. Сказали, через несколько дней переведут в общий барак для выздоравливающих. Потом, может, увидишься.

У меня от сердца отлегает. Жив. Ему лучше. Я готова стирать хоть сутками, лишь бы знать, что он поправляется.

— Спасибо, Лина, — говорю я искренне.

Она пожимает плечами:

— Я помню, каково это — бояться за своих. Моих уже нет, так хоть другим помогу.

Мы доедаем молча. Гудок оповещает о конце перерыва, и мы возвращаемся к работе.

Вторая половина дня тянется бесконечно. Солнце, которое я почти не вижу за стенами прачечной, ползет по небу медленно, как улитка. Руки уже не просто болят. Они существуют отдельно от меня, будто чужие, распухшие, с лопнувшими мозолями, из которых сочится сукровица. Надсмотрщица проходит мимо, смотрит на мои руки, кривится:

— Новичок? Ничего, привыкнешь. Работай давай.

Я работаю. Что еще остается?

Ближе к вечеру нас отправляют на другую работу — чистить овощи. Это легче, чем стирка, хотя тоже монотонно: сидеть на корточках, скоблить гнилые картофелины, отрезать черные пятна, бросать в общий чан. Здесь мы работаем уже не в прачечной, а в подсобном помещении рядом с кухней. Тоже жарко, пахнет гнилью и землей.

Рядом со мной оказывается Марта — та самая пожилая женщина, которая дала мне похлебку вчера. Она работает медленно, с трудом сгибая пальцы, но не жалуется.

— Ты держись, девочка, — говорит она тихо, не глядя на меня. — Первое время самое тяжелое. Потом втянешься.

— Сколько вы уже здесь? — спрашиваю я.

— Три года, — отвечает Марта. — Мужа схоронила в первый месяц, дочь... — она замолкает, потом продолжает: — Её отправили в ущелье. Я осталась одна.

Я смотрю на ее сгорбленную спину, на седые волосы, выбившиеся из-под платка, и не нахожу слов. Что тут скажешь?

— А вы почему не уйдете? — спрашиваю я глупо.

Марта усмехается:

— Куда, девочка? В лес? К зараженным? Здесь хоть стены есть, хоть кормят. И надежда есть. Маленькая, но есть.

— На что?

— На то, что когда-нибудь все изменится, — она пожимает плечами. — Глупо, наверное. Но без надежды человек умирает быстрее, чем от голода.

Я молчу, переваривая.

К концу смены я действительно валюсь с ног. Солнце уже село, зажгли факелы. Мы возвращаемся в барак, получив по миске той же баланды и куску хлеба. Я падаю на койку, не чувствуя тела. Лина садится рядом, протягивает какую-то мазь в жестянке.

— На, намажь руки. Поможет.

Я беру, благодарно киваю. Мазь пахнет жиром и травами, холодит кожу. Боль немного отступает.

В бараке постепенно затихают голоса. Люди ложатся спать, кто-то молится вполголоса, кто-то просто лежит, глядя в потолок. Я тоже лежу, смотрю на темные балки, и думаю об

Оливере. О том, как он там, один, без меня. О том, что Коул... я запрещаю себе думать о Коуле. Он ушел. Он не обещал вернуться. Он просто сделал свое дело и исчез, как исчезают все в этом мире.

Но мысли все равно лезут. Я вспоминаю, как он нес Оливера на руках, как его руки — сильные, но нежные — обрабатывали рану, как он смотрел на меня перед тем, как уйти в лес. Взгляд у него был такой... я не могу подобрать слова. Будто он хотел что-то сказать, но не сказал.

— Не спишь? — голос Лины вырывает из забытья.

— Нет.

— Слышишь? — она кивает куда-то в сторону двери. — Идут.

Издали доносится шум — мерные шаги многих ног, голоса, смех. Не такой, как у нас в бараке — приглушенный, виноватый, а громкий, уверенный, хозяйский.

— Кто это? — шепчу я.

— Чистые, — Лина тоже шепчет. — Из внутреннего круга. Иногда проходят мимо, смотрят на нас, как на зверей в клетке. Не поднимай головы, поняла?

Я киваю, хотя она в темноте не видит. Но любопытство пересиливает. Я чуть приподнимаюсь на локте и смотрю в сторону входа.

Дверь барака открывается, впуская свет факелов. Входят несколько человек — двое мужчин в хорошей одежде, женщина в длинном платье, еще кто-то. Они останавливаются у входа, оглядывают ряды коек. Их лица холеные, сытые, чужие. Они смотрят на нас, и в их взглядах нет ни злобы, ни сочувствия — просто любопытство, как у людей, рассматривающих необычных животных.

Один из мужчин что-то говорит, другой смеется. Женщина брезгливо морщится, прижимает платок к носу. Потом они уходят, и дверь закрывается.

— Видела? — шепчет Лина. — Это они. Те, кто живет в храме и вокруг него. Они даже не знают, как мы тут живем. И знать не хотят.

— А что они тут делали?

— Развлекаются. Иногда приходят поглазеть на "дикарей". Или выбирают кого-то для... ну, для услуг. Особенно девушек. — Лина замолкает, потом добавляет: — Если заметят — пропала.

Я вспоминаю вчерашние слова Сары: "Не привлекай внимания". Теперь понимаю, что она имела в виду.

Вскоре барак затихает окончательно. Я лежу, глядя в темноту, и не могу уснуть. Слишком много мыслей, слишком много страхов. Где-то там, за стенами, лес, свобода, опасность. А здесь — стены, порядок, и эта странная смесь безопасности и тюрьмы.

Я засыпаю только под утро, и мне снится Коул. Он стоит у водопада и смотрит на меня, а вокруг лес, настоящий, живой, пахнущий мокрой листвой и свободой.

Второй день похож на первый, как близнец. Тот же подъем затемно, та же прачечная, те же горы белья, те же окрики надсмотрщицы. Руки болят еще сильнее, но я уже учусь не обращать внимания. Главное — работай, не останавливайся, не думай.

В обеденный перерыв Лина сообщает новости: Оливер чувствует себя лучше, слаб, но уже ходит. Говорит, что спрашивает обо мне.

— Передай ему, что я жива, — прошу я. — Что я работаю и скоро увидимся.

— Передам, — кивает Лина.

После обеда нас снова отправляют на чистку овощей. Я замечаю Томаса — того старика, что чинил ботинки, рядом с бараком. Он сидит с шилом и дратвой, латая чью-то обувь. Рядом с ним куча рваных ботинок — работа, видимо, тоже никогда не кончается.

— Здравствуй, девочка, — кивает он мне. — Как руки?

— Болят, — признаюсь я.

— Это пройдет, — он усмехается. — Кожа огрубеет, и пройдет. Главное — не давай им загноиться. Мазь-то Лина дала?

— Дала.

— Вот и хорошо. А вообще, ты держись. Здесь многие ломаются в первую неделю. А ты, вижу, крепкая.

— Спасибо, — говорю я. — А вы давно этим занимаетесь?

— Обувь чиню? Да с самого начала, как сюда попал. Я в миру сапожником был, тридцать лет проработал. Здесь мое умение пригодилось. Чистые-то не умеют ничего, а обувь рвется. Вот и держат меня, кормят.

— А вы не хотите уйти?

— Куда? — Томас пожимает плечами. — Мне семьдесят два, девочка. В лесу я не выживу и дня. А здесь — тепло, еда, работа. Не сахар, конечно, но жить можно.

Я смотрю на его руки — узловатые, с навсегда согнутыми пальцами, но все еще ловкие. Он прав. Для него Элизиум — действительно спасение. Для меня...

Я не знаю еще, что для меня.

Вечером, когда мы уже возвращаемся в барак, происходит то, что я запомню надолго.

Мы идем по двору, усталые, согнувшиеся, когда вдруг слышим шум. Со стороны храма движется процессия — факелы, люди в красивых одеждах, стражи по бокам. В центре, на небольшом возвышении, которое несут носильщики, сидит человек.

— Не смотри, — шипит Лина, дергая меня за рукав. — Опустит голову!

Но я уже смотрю.

Это мужчина. Высокий, даже сидя, с густой седой бородой и длинными волосами, забранными в хвост. Одет он в длинную черную рясу, расшитую золотом — настоящим золотом, которое блестит в свете факелов. Но главное — глаза. Даже издали я чувствую их взгляд — острый, пронизывающий, будто он видит тебя насквозь.

Кассиан.

Я понимаю это без слов. Лидер культа. Хозяин Элизиума. Тот, кто решает, кому жить, а кому умереть.

Рядом с ним идет молодой человек. Тоже красивый, но по-другому — с надменным, даже скучающим выражением лица. Одет он богато, но не так вычурно, как старик. Глядя на него, я чувствую что-то странное — будто он не на своем месте. Слишком молодой, слишком... живой для этой процессии мертвецов.

Процессия приближается. Мы стоим у края дороги, низко опустив головы, как велит Лина. Я чувствую, как мимо проходят носильщики, как шелестят одежды, как пахнет дорогами маслами и ладаном.

Я чувствую на себе чей-то взгляд.

Я поднимаю глаза на секунду — глупо, нельзя, но что-то заставляет меня. Кассиан смотрит прямо на меня. Его глаза — темные, глубокие, немигающие — встречаются с моими. Длится это одно мгновение, но мне кажется, что он увидел всё: мою усталость, мой страх, мою тайную надежду. И улыбнулся — чуть заметно, одними уголками губ.

Потом процессия проходит мимо, и я снова опускаю голову, трясаясь от странного холода.

— Ты что творишь? — шипит Лина, когда мы отходим. — Я же сказала — не смотреть! Он заметил!

— Я случайно, — шепчу я.

— Случайно? — Лина качает головой. — Молись, чтобы он забыл. Если запомнит — тебе конец.

— Почему?

— Потому что он забирает тех, кто ему интересен, — голос Лины дрожит. — Забирает и не возвращает.

Я молчу, но внутри все сжимается от страха. Вспоминаю этот взгляд — и не могу понять, что в нем было: любопытство, угроза, или что-то еще, чего я не знаю.

Другого я почти не разглядела. Только мельком — надменное лицо, красивая одежда, взгляд, скользнувший по нам и тут же ушедший в сторону. Для него мы пустое место. Так даже лучше.

Ночью я долго не могу уснуть. В голове крутится этот взгляд Кассиана — тяжелый, давящий, как будто он уже все решил про меня, а я еще не знаю что. И мысли о Коуле — где он сейчас? Думает ли обо мне? Или уже забыл, как о случайной встрече?

Я понимаю, что это глупо — надеяться на человека, который ушел и не обещал вернуться. Но надежда живет во мне, маленькая, упрямая, как сорняк между камней.

Элизиум — не рай. Это тюрьма. Тюрьма с грубыми надзирателями, с сытыми лицами хозяев, с голодными глазами рабов. И я здесь — одна из рабов. По крайней мере, пока.

Но я выживу. Ради Оливера. Ради себя. И ради того, чтобы однажды снова почувствовать запах леса и свободы.

Засыпая, я шепчу в темноту:

— Я просто буду ждать, когда этот день кончится, и следующий, и все они, пока мы не окажемся там, снаружи.

Тишина не отвечает. Но мне становится легче.

На третий день меня переводят на другую работу — убирать дворы в срединном круге. Это ближе к центру, ближе к храму. Лина предупреждает: "Смотри в оба, но глаз не поднимай". Я киваю.

Дворы здесь чище, чем в нашем круге. Камень выметен, вдоль стен растут кусты — настоящие, живые, за ними ухаживают. Люди ходят не спеша, одеты лучше, чем мы. На нас, уборщиков, они смотрят как на мебель — без злобы, без интереса, просто не замечают.

Я мету листву, собираю мусор, таскаю ведра с водой. Работа не тяжелая, но унижительная своей бессмысленностью. Я смотрю на этих людей, на их чистые лица, на их спокойную жизнь, и думаю: они знают, что мы существуем? Знают, что за их сытость мы платим своими руками и спинами?

Может, знают и им все равно.

Ближе к вечеру, когда я уже собираю инструменты, чтобы идти в барак, я снова вижу их. Кассиан и другой мужчина, его сын, похоже, выходят из храма, сопровождаемые свитой. Кассиан смотрит прямо перед собой, не замечая никого. Второй чуть отстает, и его взгляд падает на меня.

Я быстро опускаю голову, делаю вид, что поправляю метлу. Но краем глаза вижу, что он замедлил шаг. Всего на секунду. Потом прошел мимо.

Сердце колотится где-то в горле. Заметил? Или нет? Я не знаю.

Вечером в бараке Лина шепчет:

— Ты сегодня убирала в срединном круге?

— Да.

— Говорят, сын лидера на тебя смотрел, — она качает головой. — Будь осторожна, Мэй. Очень осторожна.

— Я ничего не делала, — оправдываюсь я. — Просто работала.

— Это неважно, — Лина сжимает мою руку. — Здесь важно не то, что ты делаешь, а то, что они видят. Если он тебя заметил — считай, что ты уже под прицелом.

Я молчу, глядя в темноту. Под прицелом. Что это значит? Что будет?

Я не знаю. Но чувство, что моя спокойная жизнь в Элизиуме (если её можно назвать спокойной) подходит к концу.

Где-то вдалеке воет волк. Или зараженный. Или просто ветер. Я закрываю глаза и представляю лес. Там страшно, там опасно, но там я была свободна.

Здесь я в клетке.

Глава 5. Лазарет

Проходит четыре дня. Четыре дня стирки, уборки, баланды и боли в руках, которые уже покрылись грубой коркой мозолей. Уже неделю я не видела Оливера и только от Лины узнавала, что он жив и идет на поправку.

— Сегодня, — шепчет Лина вечером, когда мы возвращаемся в барак. — Сегодня получится. Я договорилась с одной женщиной из лазарета. Она работает в ночную смену и прикроет. Но надо идти сейчас, пока стража не сменилась.

Сердце пропускает удар. Я смотрю на дверь барака, за которой уже стужается темнота, и чувствую, как страх смешивается с нетерпением.

— Если поймают? — спрашиваю я.

— Если поймают — скажешь, что заблудилась, — пожимает плечами Лина. — Первый раз, что ли? Новенькие всегда бродят, не могут привыкнуть. Хуже будет, если скажешь правду. За тайные встречи — карцер, а то и хуже.

— Тогда почему ты рискуешь?

Лина смотрит на меня долгим взглядом. В полутьме барака ее шрам кажется особенно темным, почти черным.

— Потому что я знаю, каково это волноваться за близких тебе людей, — отвечает она тихо. — Моих уже нет. А твой брат... он хотя бы живой. Пусть и ты его увидишь.

Я сжимаю ее руку в благодарности, и мы выходим.

Ночь в Элизиуме — это совсем другая жизнь. Факелы горят редко, в основном у важных зданий. Дворы погружены в темноту, только луна дает немного света, разливая по камням серебристую дымку. Мы крадемся вдоль стен, прижимаясь к ним, и каждый шорох заставляет сердце замирать. Стены здесь сложены из грубого серого камня, кое-где поросшего мхом. В свете луны видны глубокие выбоины и темные подтеки от дождей — видно, что строили наспех. Местами камень заменяют куски бетона с торчащей ржавой арматурой. В щелях между блоками гнездятся птицы, их помет белыми разводами покрывает стены.

Мы проходим мимо длинных сараев, от которых несет кислым запахом квашеной капусты и прелого сена — видимо, склады. Дальше начинаются жилые бараки: низкие, приземистые, с маленькими зарешеченными окнами. В некоторых тускло мерцает свет — может, масляные лампы, может, просто тлеющие угли в печках. За одним из окон я замечаю силуэт — человек сидит, уткнувшись лицом в ладони, и не шевелится.

Лина ведет уверенно, она знает эти переходы, эти закоулки. Мы обходим сторожевые посты, пережидаем, когда пройдут патрули, и снова движемся. Мне кажется, что этот путь длится вечность.

— Здесь, — шепчет Лина, останавливаясь у неприметной двери в длинном каменном здании. — Черный ход. Иди прямо, потом налево, третья палата. Там Оливер. У тебя минут пятнадцать, не больше. Я посторожу снаружи.

— Спасибо, Лина, — говорю я искренне. — Ты даже не представляешь...

— Представляю, — перебивает она. — Иди давай. Время идет.

Я толкаю дверь и проскальзываю внутрь.

Первое, что ощущаю — запах. Здесь пахнет так, как пахнет везде, где есть больные: лекарствами, потом, гноем и еще чем-то сладковатым, тошнотворным, отчего начинает слегка подташнивать. Этот запах вьется в стены, в деревянные полы, в тряпки, и кажется, что от него невозможно избавиться. Коридор узкий, выложенный каменными плитами, кое-где треснувшими. Вдоль стен — грубые деревянные скамьи, на которых сидят люди в серых балахонах. Они не спят, просто сидят, уставившись в одну точку, и это жутковато. Наверное, ждут своей очереди или просто коротают время.

Редкие масляные лампы дают тусклый, дрожащий свет, отбрасывая длинные тени. Где-то кашляет человек — кашель глубокий, надрывный, с хрипами. Где-то стонут во сне. Из-за закрытых дверей доносятся приглушенные голоса — лекари, наверное, обсуждают пациентов.

Я крадусь, считая палаты, как велела Лина. Налево. Третья палата.

Дверь приоткрыта. Я заглядываю внутрь.

Палата маленькая, на четыре койки. Стены выбелены, но кое-где краска облупилась, открывая серый камень. На подоконнике — глиняный кувшин с засохшими цветами. В углу — грубо сколоченный шкаф с банками и склянками. Я замечаю, что на соседних койках лежат еще трое. Один — пожилой мужчина с замотанной головой — спит, открыв рот, тяжело дышит. Другой — молодой парень — смотрит в потолок невидящими глазами. Третий — ребенок лет десяти — свернулся калачиком и тихонько плачет во сне. Оливер лежит на койке у окна, укрытый серым одеялом. Лицо бледное, осунувшееся, но глаза открыты, и когда он видит меня, в них вспыхивает такой свет, что у меня сердце разрывается.

— Мэй! — шепчет он, пытаюсь приподняться.

Я бросаюсь к нему, обнимаю, прижимаю к себе, чувствуя, как под тонкой тканью проступают ребра — он похудел еще больше.

— Тише, тише, — шепчу я, глядя его по голове. — Я здесь. Я пришла.

— Я думал... — голос у него срывается. — Я думал, они не пустят. Думал, может, с тобой что-то...

— Со мной все хорошо, — вру я. — Работаю, ем, сплю. Как видишь.

Оливер отстраняется, смотрит на меня, и его глаза становятся серьезными, взрослыми не по годам.

— Ты похудела, — говорит он. — И руки... что с руками?

Я прячу ладони за спину, но поздно. Он видел. Красные, обветренные, с лопнувшими мозолями.

— Стираю много, — отвечаю я буднично. — Это пройдет.

— Мэй... — Оливер сжимает мою запястье. — Ты не должна была за мной идти. Там, в лесу... ты могла остаться с Коулом. Он бы защитил тебя. А здесь...

— А здесь ты, — перебиваю я. — И где ты, там и я. Точка.

Он вздыхает, но спорить не пытается. Знает — бесполезно.

— Как твоя рана? — спрашиваю я, кивая на его плечо, замотанное чистыми бинтами.

— Заживает, — Оливер осторожно поводит плечом. — Тут лекарь хороший, старик. Говорит, что если бы пришли на день позже, могло быть плохо. А так — через несколько дней выпишут.

— В какой барак?

— Для выздоравливающих. Там тоже не сахар, но в общем жить можно. Чисто, кормят получше. И можно будет видаться иногда.

— Иногда — это хорошо, — улыбаюсь я. — А то Лина мне все новости передает.

— Лина? — Оливер хмурится. — Это та девушка со шрамом?

— Да. Она... она хорошая. Помогает мне.

— Будь осторожна, — говорит Оливер, и это звучит так странно — будто он старший, а не я. — Я слышал чужие разговоры, говорят, здесь просто так не помогают. Просто так ничего не бывает.

Я смотрю на него с удивлением. Четыре года выживания сделали из него не просто брата, а почти взрослого мужчину. Это и радует, и пугает одновременно.

— Я осторожна, — отвечаю я. — Обещаю.

Мы говорим еще немного — о пустяках, о том, что он ел, какие тут лекари, не обижают ли его. Обычные разговоры, которые так много значат, когда не знаешь, увидишься ли завтра.

И вдруг я замечаю за окном движение.

За маленьким зарешеченным окошком, выходящим во внутренний двор, мелькают тени. Я привстаю, вглядываюсь. Там, в свете факелов, несколько человек в серых балахонах грузят что-то на тележку. Что-то длинное, завернутое в ткань. Очень похожее на тело.

— Не смотри туда, — голос Оливера становится жестким, и я вздрагиваю.

Перевожу взгляд на него. Он бледен еще больше, если это возможно.

— Что это? — спрашиваю я шепотом, хотя уже догадываюсь.

— Ты не хочешь знать.

— Оливер.

Он молчит долго, очень долго. Потом говорит:

— Тех, кто умирает или... или становится опасным, увозят ночью. Говорят, в ущелье за стеной. Оттуда никто не возвращается.

— Ущелье? — я вспоминаю, что Лина уже упоминала это слово. — Что там?

— Никто не знает. Разговоров от тех, кто возит, не услышишь. А те, кого везут... — он замолкает.

Я снова смотрю в окно. Тележка уже скрылась за углом, но неприятное ощущение внутри остается.

— Почему ты мне раньше не сказал?

— Чтобы не напрягать тебя ещё больше, — Оливер смотрит мне прямо в глаза. — Мэй, здесь нельзя никому верить. Ни лекарям, ни стражам, ни тем, кто улыбается. Здесь все может оказаться ловушкой.

Я киваю. Эта правда тяжелее любой работы.

Снаружи доносится тихий свист — сигнал Лины. Время вышло.

— Мне пора, — говорю я, вставая. — Я еще приду. Как только смогу.

— Не рискуй, — просит Оливер. — Меня выпишут отсюда, и мы еще увидимся. Будь осторожна, Мэй.

— Буду, — обещаю я, хотя не уверена.

Он слабо улыбается. Я целую его в лоб и выскальзываю в коридор.

Назад я иду быстрее, уже не считая палаты. Мысли путаются: Оливер, ущелье, зараженные, которых увозят ночью... Что там на самом деле? Убивают? Бросают умирать? Или что-то еще страшнее?

Коридор кажется бесконечным. Лампы горят тускло, и тени пляшут на стенах, принимая причудливые очертания. Вдруг я слышу шаги. Кто-то идет навстречу.

Я вжимаюсь в стену, пытаюсь слиться с камнем, но поздно. Человек выходит на свет.

Я узнаю его сразу. Красивое лицо, надменное выражение, дорогая одежда из темно-синего сукна, расшитая серебряной нитью. На плечи наброшен легкий плащ с меховой оторочкой — явно не здешней работы, из какого-то дальнего поселения. В руке — зажженная сигарета, тонкая, пахнущая не махоркой, а настоящим табаком.

Он стоит, прислонившись к стене, и смотрит прямо на меня. В полумраке его глаза кажутся почти черными, но в них поблескивают отблески огня.

Я замираю. Сердце ухает в пятки.

— Вечерняя прогулка? — спрашивает он спокойно. Голос низкий, чуть насмешливый, с легкой хрипотцой.

— Я... — язык не слушается. — Заблудилась.

— В лазарете? — он поднимает бровь. — Обычно сюда забредают только те, у кого здесь кто-то есть. Больной родственник? Друг?

Я молчу. Он делает шаг ко мне, и я инстинктивно отступаю, чувствуя спиной холод камня.

— Не бойся, — говорит он, и в голосе появляется что-то похожее на мягкость. — Я не страж. Не донесу. Просто интересно.

Он смотрит на меня изучающе, и я чувствую себя муравьем под лупой. Вблизи он выглядит моложе, чем казался издали — лет двадцать пять, не больше. Но глаза у него старые, слишком старые для такого лица. В них есть что-то холодное, оценивающее, от чего хочется спрятаться.

— Мэй, — произносит он, и я вздрагиваю — откуда он знает? — Я слышал, к нам пришла новенькая. С братом. Твой брат здесь, в лазарете, верно?

— Откуда... — начинаю я.

— Я здесь бываю, — он пожимает плечами, и плащ красиво колышется. — Интересуюсь, как лечат, кого лечат. Мой отец считает, что здоровье общины — важная вещь.

Отец. Кассиан. А вот и его сын.

— Дэмиан, — представляется он, будто читая мои мысли, и слегка наклоняет голову.

— Видела вас на площади, — отвечаю я осторожно.

— И испугалась? — он усмехается, обнажая ровные зубы. — Не бойся. Мы не кусаемся. По крайней мере, без повода.

Он говорит легко, почти дружелюбно, но я не расслабляюсь. Слишком много предупреждений от здешних жителей.

— Я провожу тебя, — предлагает Дэмиан. — Здесь легко заблудиться, а ночью особенно. Идет?

Я колеблюсь. С одной стороны — это опасно. С другой — отказать сыну лидера? Это тоже опасно. Я смотрю на его лицо, пытаюсь угадать подвох, но он смотрит открыто, даже дружелюбно.

— Хорошо, — говорю я наконец.

Мы идем по коридору. Дэмиан молчит, но я чувствую его взгляд — изучающий, но не враждебный. Свет ламп выхватывает из темноты детали его одежды: дорогую ткань, тонкую выделку кожи на сапогах, серебряную пряжку на поясе. От него пахнет не так, как от нас — не потом и грязью, а какими-то травами, может, мылом.

— Тяжело здесь? — спрашивает он вдруг.

— Где?

— В Элизиуме. Для новеньких всегда тяжело. Другая еда, другая работа, другие люди.

— Нормально, — отвечаю я коротко.

— Ты неразговорчива, — он усмехается. — Это хорошо. Много болтать здесь тоже опасно.

Я молчу. Мы проходим мимо открытой двери, из которой доносится запах лекарств и чей-то надрывной кашель. Дэмиан даже не поворачивает головы.

— Знаешь, Мэй, — говорит он, замедляя шаг, — мой отец... он строит здесь новый мир. Место, где люди могут жить в безопасности, не бояться заразы, не голодать. Это стоит многого. Иногда приходится чем-то жертвовать.

Я смотрю на него. О чем это он? Предупреждает? Или просто мысли вслух?

— Вы жертвуете людьми? — спрашиваю я, и сама пугаюсь своей дерзости.

Дэмиан останавливается, поворачивается ко мне. В его глазах мелькает что-то — удивление? интерес?

— Ты смелая, — говорит он тихо. — Это редкость. Но здесь смелость может быть опасна. Помни об этом.

Мы подходим к двери, через которую я вошла. Он открывает ее, пропускает меня вперед. Ночной воздух ударяет в лицо свежестью.

— Дальше сама? — спрашивает Дэмиан.

— Да. Спасибо.

Он смотрит на меня долгим взглядом.

— Знаешь, Мэй, мне почему-то кажется, что мы еще встретимся. Не здесь, так в другом месте. Элизиум все-таки небольшой.

Я не знаю, что ответить. Просто выхожу в ночь.

Дверь закрывается за мной, и я стою, прижимаясь спиной к холодному камню, пытаюсь унять дрожь. Вокруг тихо, только где-то далеко лает собака да шумит ветер в кронах деревьев за стеной.

Лина ждет в тени, и когда я появляюсь, хватается за руку, тащит прочь.

— Ты чего так долго? — шипит она. — Я уже думала, все, поймали.

— Почти поймали, — отвечаю я, все еще чувствуя на себе взгляд Дэмиана. — Встретила кое-кого.

— Кого?

— Дэмиана. Сына лидера.

Лина останавливается так резко, что я врезаюсь в нее.

— Ты шутишь? — ее голос дрожит. — Он тебя видел? Говорил с тобой?

— Да. Проводил до выхода.

— Ох, Мэй... — Лина качает головой. — Это плохо. Очень плохо.

— Почему? Он был вежлив. Не угрожал.

— Потому что они всегда вежливы сначала, — шепчет Лина, ускоряя шаг. — А потом ты исчезаешь. Блядь, я же говорила — не привлекай внимания. А ты...

— Я не специально, — оправдываюсь я. — Он сам подошел.

— Это еще хуже, — Лина останавливается и смотрит на меня в упор. — Значит, он заметил тебя раньше. Сам, без чужой помощи. И теперь будет следить за тобой.

У меня внутри все холодеет. Я вспоминаю взгляд Дэмиана — не злой, но какой-то... собственнический? Или мне показалось?

Мы идем обратно тем же путем, мимо складов, мимо барачков. В одном из окон я замечаю свет — кто-то не спит. Наверное, как и мы, боится темноты.

Лина молчит всю дорогу. Только у самой двери барака она поворачивается ко мне:

— Будь осторожна, Мэй. Очень осторожна. Если он действительно заинтересовался тобой, это может значить только одно.

— Что?

— Что ты уже не просто чужачка. Ты — объект. А с объектами здесь долго не церемонятся.

Она исчезает в темноте, я захожу в барак, ложусь на свою койку и долго смотрю в потолок.

Мысли путаются: Оливер, ущелье, трупы, которых увозят ночью, Дэмиан с его вежливой улыбкой. Все это складывается в какую-то картину, которую я пока не могу разглядеть целиком.

Но одно я понимаю точно: Элизиум — не просто тюрьма. Это место, где у всего есть двойное дно. Где доброта может оказаться ловушкой, а забота — удавкой на шее.

И мне надо быть очень, очень осторожной, чтобы не попасться.

Я закрываю глаза и шепчу в темноту, как заклинание:

— Мы выберемся, Оливер. Мы еще увидим лес. Я не знаю как, но мы выберемся. Я обещаю.

Тишина не отвечает. Но мне становится легче.

Глава 6. Праздник урожая

Утром нас будят раньше обычного. За окнами барака все еще темно, только первые серые лучи начинают пробиваться сквозь решетки, а в дверях уже стоит надсмотрщица с неизменной палкой в руке и орет, чтобы все поднимались.

— Сегодня праздник! — голос у нее пронзительный, режущий слух. — Все на площадь! Чистую одежду надеть, построиться по кругам! Кто опоздает — без обеда!

Вокруг меня начинается шевеление. Люди встают, натягивают на себя то немного, что у них есть, но более чистое — рваные рубахи, стоптанные башмаки. Кто-то пытается пригладить волосы водой из общей бадьи, кто-то просто трет глаза и молча бредет к выходу.

Я тоже встаю. Тело ломит после вчерашней стирки, руки горят, но я уже привыкла. Лина сидит на соседней койке, сосредоточенно заплетает волосы в косу, и лицо у нее напряженное.

— Что за праздник? — спрашиваю я шепотом.

— Сбор урожая, — отвечает она, не глядя на меня. — Важный праздник в Элизиуме. Кассиан благодарит людей за труды, раздадут еду, поют гимны. Все должны быть там.

— А если не пойти?

Лина наконец поворачивается, смотрит на меня долгим взглядом.

— Если не пойти — значит, ты не благодарна. Значит, ты против общины. А противники здесь долго не живут. — она проводит пальцем по горлу.

Я киваю. Поняла.

Мы выходим из барака и вливаемся в общий поток. Люди идут молча, с опущенными головами, и только дети иногда перешептываются, пока матери не шикают на них. Со всех сторон текут такие же ручейки из других бараков, из домов срединного круга. Все движутся к центру, к площади перед храмом.

Я впервые вижу столько народа сразу. Площадь огромная, вымощенная серым камнем, с трех сторон окруженная зданиями. С четвертой стороны — храм, массивное сооружение из темного камня, с высокими узкими окнами и массивными дверями, обитыми бронзой. Над входом — высеченное в камне изображение: рука, протянутая к небу, и вокруг нее языки пламени. Или это лучи? Я не могу разобрать.

По краям площади уже расставлены длинные столы, на которых горами лежит еда. Нормальная еда! Я вижу хлеб — белый, пушистый, каких я не видела годами. Вижу мясо, жаренное целыми кусками, овощи, фрукты. У меня слюна наполняет рот, и я сглатываю, стараясь не смотреть слишком жадно.

— Не пялся, — шипит Лина, дергая меня за рукав. — Это для них. Для чистых. Нам дадут объедки, если повезет.

Я отвожу взгляд, но запах... запах свежего хлеба и жареного мяса висит в воздухе, дразнит, сводит с ума. Я не ела такого с того самого мира, с той жизни, где была мама, папа, дом.

Нас выстраивают в задних рядах — чужаков, меченых, всех, кто не из чистых. Впереди, ближе к храму, стоят люди в хорошей одежде — ремесленники, стражи, те, кто работает в срединном круге. А у самого крыльца храма — отдельная группа, человек двадцать. Они одеты в длинные светлые балахоны, с какими-то значками на груди. Приближенные Кассиана, наверное. Или жрецы.

Солнце поднимается все выше, начинает припекать. Мы стоим, переминаясь с ноги на ногу, и ждем. Наконец двери храма открываются.

Первыми выходят музыканты — несколько человек с дудками и барабанами. Они начинают играть тягучую, торжественную мелодию. За ними — стражи в парадной форме, с начищенными доспехами. Потом — те, кого я уже видела той ночью: советники, старейшины, все в тех же светлых балахонах.

И наконец — Кассиан.

Он выходит медленно, величественно, опираясь на высокий посох, увенчанный каким-то кристаллом. Одет в длинную черную мантию, расшитую золотыми нитями. На голове — не то венец, не то просто обруч, тоже золотой. Лицо торжественное, глаза горят.

За ним, чуть поодаль, идет Дэмиан. На нем сегодня темно-зеленый камзол, расшитый серебром, и высокие сапоги из мягкой кожи. Он смотрит прямо перед собой, но я чувствую — он ищет кого-то взглядом в толпе. И почему-то уверена, что ищет меня.

Процессия останавливается у специального возвышения перед храмом. Кассиан поднимается на него, обводит взглядом площадь. И начинает говорить.

— Люди Элизиума! — голос у него громкий, поставленный, разносится далеко. — Братья и сестры, выжившие в огне Великого Гниения! Сегодня мы собрались, чтобы возблагодарить высшие силы за еще один год, за еще один урожай, за еще один день жизни в нашем священном убежище!

Толпа взрывается одобрительными криками. Я не кричу. Просто смотрю.

— Мы прошли через страдания, — продолжает Кассиан. — Мы потеряли близких, дома, саму землю под ногами. Но мы не сломались! Мы построили Элизиум — место, где царит порядок, где сильный защищает слабого, где все могут жить в мире!

Он говорит долго. О том, что страдание очищает душу. О том, что только через боль можно прийти к свету. О том, что те, кто не выдержал, кто погиб или заразился — они были слабы, и это их выбор. О том, что Элизиум — последний оплот человечества, и долг каждого — работать, слушаться и быть благодарным.

Я слушаю и чувствую, как внутри закипает что-то нехорошее. Фальшь. Он говорит красиво, гладко, но за этими словами — пустота. Он не любит этих людей. Он использует их. И все эти крики, все эти благодарности — они как дрессировка. Собачка сделала трюк — получила вкусняшку.

— А теперь — пир! — заканчивает Кассиан. — Ешьте, пейте, радуйтесь! Вы заслужили!

Музыка грянула громче. Люди задвигались, заговорили, засмеялись. Чистые потянулись к столам, нагружая тарелки горками еды. Нам, чужакам, тоже что-то перепадет — я вижу, как в нашу сторону несут большие бадьи с похлебкой и корзины с черствым хлебом.

Я уже хочу двинуться туда, чтобы занять очередь побыстрее, как вдруг чувствую на себе взгляд. Оборачиваюсь.

Дэмиан стоит в нескольких шагах, слегка улыбаясь. Он отделился от свиты и теперь смотрит прямо на меня, будто ждал этого момента.

— Мэй, — говорит он, подходя ближе. — Рад снова тебя видеть. Как твой брат?

— Поправляется, — отвечаю я коротко. — Спасибо.

— Это хорошо, — кивает он. — Я рад. А ты как? Привыкаешь к нашей жизни?

— Нормально.

Он усмехается, и в этой усмешке нет ничего плохого, но мне все равно не по себе.

— Ты немногословна, — говорит он. — Это... освежает. Здесь все слишком много говорят. Особенно те, кому от меня что-то нужно.

Я молчу, не зная, что ответить. Краем глаза вижу, как Лина делает мне знаки — уходи, мол, быстро. Но я не могу. Он стоит и смотрит, и я будто прикована к месту.

— Знаешь, Мэй, — говорит Дэмиан, понижая голос, — сегодня вечером, после пира, во внутреннем круге будет небольшой ужин. Для избранных. Я хотел бы пригласить тебя.

У меня внутри все обрывается.

— Я... — начинаю я. — Я не могу. У меня работа. Завтра рано вставать...

— Работа подождет, — перебивает он мягко, но в этой мягкости чувствуется сталь. — Я поговорю с надсмотрщицей. Тебя освободят.

— Это честь, конечно, но я...

— Мэй, — он делает шаг ближе. Совсем близко. Я чувствую запах каких-то дорогих масел. — Я приглашаю тебя как гостя. Ничего больше. Просто ужин, разговор. Ты мне интересна. Разве это преступление?

Он улыбается, и на его лице появляется что-то похожее на искренность. Но я помню, что говорила Лина. Помню, что говорила Марта. Помню, что здесь никому нельзя верить.

— Я... — пытаюсь я снова.

— Не отказывайся, — говорит он тихо, и в его голосе появляется нотка, от которой холодеет спина. — Это нехорошо. Отказывать сыну лидера при всех.

Я оглядываюсь. Да, при всех. Вокруг уже останавливаются взгляды, люди шепчутся, смотрят на нас. Кто-то с завистью, кто-то с сочувствием, кто-то просто с любопытством. Это ловушка. Если я откажусь сейчас, публично, я оскорблю его. А оскорблять здесь никого нельзя.

— Хорошо, — говорю я, и голос мой звучит мертво, будто чужой. — Я приду.

Дэмиан улыбается шире, и в этой улыбке есть что-то такое... я не могу подобрать слово. Торжество? Удовлетворение?

— Я пришлю за тобой человека, — говорит он. — В седьмом часу. Будь готова.

Он разворачивается и уходит, а я стою, чувствуя, как дрожат колени.

Лина подлетает ко мне, хватая за руку, тащит в сторону.

— Я все слышала. Ты что, с ума сошла? — шипит она. — Зачем согласилась?

— А у меня был выбор? — огрызаюсь я. — Ты видела, как все на нас смотрели? Если бы я отказала...

— Если бы отказала, может, и обошлось бы, — Лина качает головой. — А теперь... Мэй, ты понимаешь, что это значит?

— Понимаю. Но что я могла сделать?

Она не отвечает. Только смотрит куда-то в сторону.

Подходит Марта. Лицо у нее серое, глаза испуганные.

— Я слышала, девочка, — шепчет она, оглядываясь. — Не ходи. Притворись больной. Убегни. Спрячься. Что угодно.

— Не могу, — отвечаю я. — Он пришлет за мной человека. Если я не появлюсь, будет хуже.

— Хуже некуда, — Марта сжимает мою руку. — От их ужинов не возвращаются, Мэй. Я здесь три года, я видела. Приходят молоденькие, красивые, а потом они пропадают.

— Может, уходят? — спрашиваю я без надежды.

— Куда? За стены? За стенами смерть и зараженные. А внутри... — она замолкает, потом добавляет совсем тихо: — Говорят, Кассиан и его сын... они любят молодых. А когда наиграются отправляют их в ущелье.

У меня внутри все холодеет. Ущелье. Опять это слово.

— Может, я смогу... — начинаю я, но Марта перебивает:

— Ты ничего не сможешь. Ты чужая. Ты никто. Если они захотят, то сломают. И никто не заступится. Здесь все молчат, потому что страшно попасть под гнев Кассиана.

Я смотрю на веселящуюся толпу. Чистые едят, пьют, смеются. Стражи стоят по периметру, лениво поглядывая по сторонам. Дети бегают между взрослыми. И никто, никто не знает, что происходит за этими стенами. Или знают, но молчат.

Ко мне подходит Томас, сапожник. Лицо у него серьезное, не испуганное, как у других.

— Держись, девочка, — говорит он тихо. — Может, и обойдется. Может, он просто поговорить хочет. Ты слушай больше, говори мало. И запоминай. Вдруг пригодится.

— Что запоминать?

— Всё, — он пожимает плечами. — Кто с кем, кто против кого, кто боится, кто ненавидит. Вдруг получишь рычаг давления на сына лидера, сможешь его использовать ради спасения своей жизни.

Я смотрю на него с удивлением. Рычаг? Против сына лидера? Это звучит безумно.
Но других советов я больше не получила.

Пир продолжается. Люди едят, пьют, некоторые уже танцуют под музыку. Я беру миску похлебки, кусок хлеба, но еда в горло не лезет. Я просто смотрю на часы, на солнце, которое медленно ползет к закату.

Мы сидим с Линой на скамье, молчим. Марта ушла молиться. Томас чинит чью-то обувь, делая вид, что ничего не происходит.

Когда солнце касается горизонта, я вижу его. Один из стражей подходит к нам.

— Ты, — кивает он на меня. — Собирайся. Господин ждет.

Я встаю. Ноги не слушаются, но я иду. Лина сжимает мою руку на прощание, шепчет:

— Держись. Мы будем ждать.

Я киваю. И иду за стражем.

Вокруг меня расступаются люди. Кто-то смотрит с жалостью, кто-то с завистью, кто-то отводит глаза. Я прохожу через площадь, мимо столов с объедками, мимо догорающих факелов, мимо храма — туда, во внутренний круг.

Туда, откуда не возвращаются.

В голове пустота. Только одна мысль: "Оливер. Ты должен выжить. Ради тебя я это делаю."

И вторая: "Коул. Где ты? Почему ты не вернулся?"

Но ответа нет. Только тихий шелест вечернего ветра да стук моих собственных шагов по камню.

Ворота внутреннего круга открываются передо мной.

Я делаю шаг внутрь.

Глава 7. Ужин у Дэмиана

Страж ведет меня через внутренний круг, и я пытаюсь запомнить дорогу, но все сливается в одно: аккуратные мощные улочки, чистые стены домов, редкие факелы, горящие ровным, не коптящим пламенем. Здесь пахнет не так, как в нашем бараке — не потом и гнилью, а деревом, дымом из каминов и еще чем-то сладковатым, может быть, цветами.

Людей почти нет. Только стражи на постах, которые провожают нас взглядами, да изредка мелькнет чей-то силуэт в окне. Тишина стоит такая, что уши закладывает — после постоянного шума барака, после кашля и шепота, эта тишина кажется неестественной, почти мертвой.

Мы останавливаемся у двухэтажного дома, сложенного из светлого камня. На первом этаже горят окна, за ними видно тепло, уют. Страж стучит, дверь открывается почти сразу.

— Проходи, — кивает он мне и уходит, даже не дождавшись, пока я войду.

Я стою на пороге, не решаясь шагнуть внутрь. Дверь держит женщина в простом, но чистом платье — служанка, наверное. Она смотрит на меня без враждебности, но и без тепла, просто как на предмет мебелировки.

— Господин ждет, — говорит она. — Раздевайся, проходи.

Я стягиваю с себя рваную куртку, оставшись в той же грязной рубашке, в которой работала последние дни. Мне неловко, стыдно, но служанка даже не смотрит на меня. Она вешает мою куртку на крючок у двери и жестом показывает идти дальше.

Я захожу.

Первое, что поражает — тепло. Настоящее тепло, не от жалкой печурки в бараке, где греются по очереди, а от большого камина, в котором весело потрескивают дрова. Я чувствую, как мои замерзшие пальцы начинают оттаивать, и это почти физическое наслаждение.

Второе — запах еды. Не баланды, не гнилых овощей, а вкусной еды: жареного мяса, свежего хлеба, каких-то трав. У меня сводит живот, и я слглатываю, стараясь не думать о том, как давно не ела ничего подобного.

Третье — обстановка. Я не была в нормальном доме с того самого дня, когда все рухнуло. Здесь настоящая мебель: деревянный стол, покрытый белой скатертью, стулья с высокими спинками, на окнах — занавески. На стенах — какие-то картины, простые, но настоящие. На полу — домотканые дорожки. Все чистое, ухоженное, не чужое.

Из соседней комнаты выходит Дэмиан. На нем уже не парадный камзол, а простая светлая рубашка, мягкие штаны. Он улыбается, и в этой улыбке — ничего от того надменного выражения, что я видела на площади.

— Мэй, — говорит он тепло. — Проходи, садись. Ты, наверное, замерзла. Грейся у огня.

Я сажусь на краешек стула у камина, не зная, куда деть руки. Они красные, распухшие, с лопнувшими мозолями — ужасные руки. Я прячу их под стол.

Дэмиан садится напротив, наливает из кувшина в два бокала что-то темное, тягучее.

— Вино, — говорит он, протягивая мне один. — Настоящее, из старых запасов. Осталось немного, но для такого вечера не жалко.

Я беру бокал. Пальцы дрожат, и вино чуть плещется через край. Дэмиан делает вид, что не замечает.

— За знакомство, — говорит он, поднимая свой бокал.

Я делаю глоток. Вино сладкое, терпкое, обжигает горло, разливается теплом по животу. Я почти забыла этот вкус.

Служанка вносит еду. Настоящее мясо, зажаренное с овощами, хлеб, еще что-то в мисках. У меня глаза разбегаются, и Дэмиан, кажется, замечает это.

— Ешь, не стесняйся, — говорит он. — Здесь все для тебя.

Я не стесняюсь. Я набрасываюсь на еду, стараясь не слишком чавкать, но голод сильнее приличий. Мясо тает во рту, хлеб мягкий, теплый, овощи — я даже не знаю, что это, но вкусно так, что хочется плакать.

Дэмиан ест медленно, маленькими кусочками, и наблюдает за мной. В его взгляде нет насмешки, скорее любопытство.

— Ты давно не ела нормально, — говорит он, и это не вопрос.

— Давно, — отвечаю я с набитым ртом и тут же краснею.

— Ничего, — улыбается он. — Ешь. В Элизиуме все должны быть сыты. Это одна из заповедей отца.

— Не похоже, — вырывается у меня, и я прикусываю язык.

Дэмиан поднимает бровь:

— Что ты имеешь в виду?

— Ничего, — быстро говорю я. — Просто... в бараке кормят не так.

— Барак — временное жилье, — пожимает плечами Дэмиан. — Люди приходят, уходят, работают. Им не нужны излишества. А здесь — дом. Должно быть уютно.

Я молчу, продолжая есть. Он не давит, не расспрашивает дальше. Просто сидит, смотрит, изредка подливает вино.

Когда голод утолен, я начинаю замечать детали. Как он сидит — свободно, расслабленно, как человек, который здесь хозяин. Как говорит — мягко, но с той особенной интонацией, к которой привыкаешь, когда все твои слова — закон. Как смотрит — внимательно, изучающе, но без той хищности, которую я боялась увидеть.

— Расскажи о себе, Мэй, — просит он. — Откуда ты? Кем была до того, как все рухнуло?

— Обычная, — отвечаю я неохотно. — Жила в городе, училась. Потом привычный мир рухнул.

— Семья?

— Мама, папа, брат. — Я замолкаю, но он ждет, и я продолжаю: — Маму загрызли в первый год. Папа... ушел. Не выдержал. Остались мы с Оливером.

— И ты таскала его по лесам четыре года? — в голосе Дэмиана появляется что-то похожее на уважение. — Одна?

— Не одна. Мы были вдвоем.

— Это долго, — говорит он тихо. — У меня нет братьев и сестер, но я представляю, что такое тащить кого-то на себе.

Я смотрю на него с удивлением. Он говорит так, будто понимает. Будто сам через что-то подобное прошел.

— А вы? — спрашиваю я, забывая про осторожность. — Вы как здесь оказались?

Дэмиан смотрит на огонь, и его лицо на мгновение становится каким-то отстраненным.

— Мы пришли сюда больше трёх лет назад, — говорит он тихо. — Тогда это были просто руины старого монастыря. Стены полуразрушены, в подвалах крысы, наверху — ветер гуляет. Отец увидел в этом знак.

— Знак?

— Он всегда ищет знаки, — усмехается Дэмиан, но усмешка выходит горькой. — Сказал, что здесь мы построим новый мир. Убежище для тех, кто выжил. Место, где не будет хаоса.

— И построили.

— Построили, — кивает он. — Руками тех, кто пришел. Камнями, которые таскали из руин. Кровью тех, кто верил в благую цель.

Я смотрю на него и вижу, как меняется его лицо. Исчезает надменность, исчезает та холодная маска, которую я видела на площади. Остается только усталость. Глубокая, давняя, как те трещины в стенах барakov.

— А до этого? — спрашиваю я осторожно. — Где вы были до этого?

— До этого жил в городе, — он пьет вино, долго, почти жадно. — Обычный город, обычная жизнь. Отец был... не знаю, кем он был. Кажется, преподавал что-то в университете.

— А мама?

Дэмиан замирает. В тишине слышно только потрескивание дров в камине.

— Ее загрызли в первый месяц, — говорит он наконец. Голос ровный, но я чувствую для него это болезненная тема. — Мы бежали из города, она отстала, прикрывала нас. Я оглянулся, когда услышал крик. Зараженных было много.

Я молчу. Я знаю этот взгляд. Так смотрят люди, которые видели слишком много.

— Мы с отцом потом долго бродили вместе, — продолжает Дэмиан. — Год, наверное. Или больше. Я перестал считать дни. Ели что придется, спали где придется. Он меня вытащил. Не дал умереть, не дал сдаться. А потом нашел это место.

— И вы стали тем, кто вы есть.

— И я стал тем, кто я есть, — кивает он. — Сын лидера. Наследник. Будущее Элизиума. Только иногда мне кажется, что я так и остался там, в том лесу, где мама кричала.

Он замолкает. Я смотрю на него и вижу ни сына лидера, ни надменного молодого человека из храма. Я вижу того же, кого вижу в зеркале по утрам — человека, который выжил, но потерял слишком много.

— Мне жаль, — говорю я тихо.

— Не надо, — он качает головой. — Это было давно. Я уже свыкся.

— К такому не привыкают.

Он смотрит на меня долгим взглядом, и в его глазах появляется что-то новое. Это не холод, не расчет — удивление.

— Ты первая, кто это говорит, — произносит он. — Обычно все говорят: "Вам повезло, что нашли Элизиум". Или: "Ваш отец — великий человек". И никто, никто не говорит "мне жаль".

— Потому что боятся?

— Потому что не видят, — он отводит взгляд. — Видят только стены, только власть, только безопасность. А того, что внутри... не видят.

Мы молчим. Камин потрескивает, за окном воет ветер. И в этой тишине есть что-то странное, почти интимное — будто мы двое, разделенные стеной и положением, вдруг оказались на одной стороне.

— Ты не такой, как я думала, — говорю я, и сама пугаюсь своей откровенности.

Дэмиан усмехается:

— А какой я, по-твоему?

— Не знаю. Другой. Не такой, как твой отец.

Он смотрит на меня долго, очень долго. Потом говорит:

— Может, и не такой. А, может, просто еще не стал.

И в этих словах столько горечи, что мне хочется протянуть руку и коснуться его. Но я не решаюсь.

Мы молчим. За окном уже совсем темно, в камине догорают дрова, и служанка бесшумно подкладывает новые.

— Твой брат, — говорит Дэмиан. — Ему нужны лекарства, да? Сильные, не те, что дают в лазарете?

— Да, — отвечаю я. — Лекарь сказал, что рана заживает, но может остаться слабость. Нужны витамины, еще что-то...

— Я помогу, — перебивает Дэмиан. — Завтра же распоряжусь, чтобы ему дали все необходимое. И место получше, в срединном круге. Чтобы вы могли видеться чаще.

Я смотрю на него с удивлением и благодарностью.

— Зачем? — спрашиваю я прямо. — Зачем вы мне помогаете?

Дэмиан всматривается в огонь, и языки пламени, кажется, высекают из его черт что-то дьявольски-притягательное.

— Может, потому что ты первая за долгое время, кто не просит, — отвечает он. — Не лебезит, не пытается понравиться. Ты просто есть. И мне... мне этого достаточно.

Он встает, подходит к шкафу у стены, достает оттуда что-то темное, мягкое. Протягивает мне.

— Это плащ. Теплый, из овечьей шерсти. Тебе пригодится.

— Я не могу... — начинаю я.

— Можешь, — перебивает он. — Это не подарок. Это... необходимость. Чтобы ты не мерзла, возвращаясь в свой барак. Я знаю, что там холодно.

Я беру плащ. Он действительно теплый, мягкий, пахнет травами.

— Спасибо, — говорю я тихо.

Дэмиан кивает. Смотрит на меня долгим взглядом, потом отводит глаза.

— Уже поздно, — говорит он. — Тебя отведут. Но я надеюсь, мы еще увидимся, Мэй.

— Увидимся, — выпалила я, и сама не знаю, на кой чёрт сказала это.

Та же служанка провожает меня до двери, отдает мою рваную куртку. Я надеваю новый плащ — он укрывает меня с головой, и в нем действительно тепло.

На улице ждет тот же страж. Он молча кивает и ведет меня обратно, через пустые улицы, мимо темных барачков, к моему.

В бараке уже тихо, все спят. Лина не спит — сидит на моей койке, вглядываясь в темноту.

— Ну как? — шепчет она, когда я захожу.

Я сажусь рядом, кутаюсь в новый плащ. Рассказываю все: про дом, про еду, про разговор, про обещание помочь Оливеру. Лина слушает молча, и лицо у нее становится все мрачнее.

— Ты понимаешь, что теперь должна? — спрашивает она.

— Что?

— Он тебе помог. Подарил вещи. Пообещал лекарства. Теперь ты в долгу.

— Я ничего не просила.

— Это неважно, — Лина качает головой. — Здесь это так работает. Даром ничего не дают. Рано или поздно он придет за платой. И ты не сможешь отказать.

Я молчу, глядя на свои руки. Они все еще красные, все еще в мозолях, но в новом тёплом плаще.

— Я помню, — говорю я тихо. — Он говорил: "Не верь доброте".

— Кто?

— Коул. Тот, кто спас нас. Он предупреждал.

— И был прав, — Лина ложится, поворачиваясь к стене. — Смотри не ошибись, Мэй. Здесь ошибаться дорого.

Я ложусь, укрываясь плащом. Он пахнет чужим домом, чужим теплом, чужой заботой. И от этого запаха мне одновременно хорошо и тошно.

Я закрываю глаза и вижу лицо Дэмиана — не надменное, не холодное, а почти родное. И рядом — лицо Коула, суровое, обветренное, с его вечной усталостью в глазах.

"Не верь доброте," — шепчу я в темноту.

Но плащ такой теплый.

Глава 8. Слухи

Утро после ужина у Дэмиана начинается как обычно — с окрика надсмотрщицы и лязга дверей барака. Но что-то изменилось. Я чувствую это, еще не открывая глаз.

В воздухе висит необычная тишина. Не та, утренняя, сонная, а настороженная, липкая. Будто все замерли и ждут.

Я открываю глаза и сразу понимаю — на меня смотрят. С соседних коек, с верхних ярусов, из углов. Взгляды быстрые, колющие, они скользят по мне и тут же отводятся, стоит мне повернуть голову.

Лина уже одета, сидит на своей койке, теребит край рубахи. Лицо у нее серое, под глазами темные круги — видно, плохо спала.

— Проснулась, — говорит она тихо, когда я сажусь. — Одевайся быстрее. И платок накинь, чтобы плаща не видно было.

Я смотрю на новый плащ, в котором спала, укрываясь вместо одеяла. Теплый, мягкий, он выделяется среди серых тряпок барака как огонь в снегу.

— Что случилось? — спрашиваю я шепотом, хотя уже догадываюсь.

— Все знают, — Лина не смотрит на меня. — Про ужин. Про подарки. Ты теперь у всех на виду.

— Но откуда?

— Здесь стены с ушами, Мэй. — Она наконец поднимает глаза. — Стражи треплют, служанки треплют, даже те, кто в храме, и те языками чешут. К утру весь Элизиум знал, что сын лидера привел чужачку в свой дом и оставил до ночи.

— Я не до ночи, — пытаюсь возразить я. — Я ушла, только стемнело.

— Какая разница? — Лина криво усмехается. — Ты была там. Ела за его столом. Приняла подарок. Теперь ты — его.

— Я ничья, — говорю я твердо, но голос предательски дрожит.

— Ты так думаешь. А они думают иначе.

Она кивает на выход, где уже собираются женщины, готовые идти на работу. Они перешептываются, бросают взгляды в мою сторону, и в этих взглядах — смесь зависти, злобы и чего-то еще, похожего на страх.

— Идем, — Лина встает. — Не заставляй их ждать. Им только повод дай.

Я накидываю рваную куртку поверх плаща, пытаюсь спрятать его, но ткань все равно видна на вороте, на рукавах. Выхожу вслед за Линой, стараясь не смотреть по сторонам, но взгляды прожигают спину.

В прачечной сегодня особенно тяжело. Вода ледяная, руки коченеют сразу, но дело не в воде. Женщины, с которыми я работала бок о бок эти дни, вдруг перестали меня замечать. Раньше мы перекидывались парой слов, иногда помогали друг другу с тяжелыми корзинами. Сегодня они отворачиваются, когда я подхожу. Если я прошу передать мыло — делают вид, что не слышат. Если я сажусь рядом за обеденный перерыв — встают и уходят.

Я остаюсь одна за длинным столом, с миской баланды и куском хлеба, и чувствую себя голой под взглядами.

К концу смены подходит надсмотрщица. Та самая, с палкой, которая обычно орет на всех без разбора. Сегодня она смотрит на меня странно — не зло, а как-то... оценивающе.

— Ты, — говорит она. — Завтра переводись на кухню. Овощи чистить, посуду мыть. Работа легче.

— Почему? — спрашиваю я, и это вырывается само.

Она усмехается, обнажая желтые зубы:

— Не задавай вопросов, которые тебя не касаются. Сказано — делай.

И уходит.

Лина, которая слышала разговор, подходит ко мне, когда надсмотрщица скрывается за дверью.

— Видишь? — говорит она тихо. — Уже легче. Уже не как со всеми. Это только начало.

— Начало чего?

— Тебя отделяют, — Лина смотрит на меня с тоской. — Сначала от работы, потом от людей, потом от самой себя. Он тебя готовит.

— К чему?

— Не знаю, — она отводит взгляд. — Но те, кто был до тебя, проходили то же самое. Сначала подарки, потом привилегии, потом изоляция. А потом — тишина.

Я хочу спросить еще, но она уже уходит к своим корытам, оставляя меня одну с этими словами.

После работы, когда мы должны возвращаться в барак, я сворачиваю не туда, а в сторону лазарета. Лина говорила, что Оливера должны выписать сегодня, и я хочу его встретить.

У дверей лазарета я сталкиваюсь с пожилой медсестрой, которая дежурила в ту первую ночь.

— Твой брат? — спрашивает она, узнав меня. — Иди. Второй корпус, третья палата. Только быстро, пока стража не нагрянула.

Я бегу по коридору, влетаю в палату и вижу Оливера. Он сидит на койке, одетый в чистую, но чужую одежду — серую рубаху, грубые штаны. Лицо уже не такое бледное, на щеках появился слабый румянец.

— Мэй! — он вскакивает, бросается ко мне, обнимает. — Я думал, ты не придешь!

— Пришла, — я прижимаю его к себе, чувствуя, как от сердца отлегает. — Как ты?

— Хорошо, — он отстраняется, смотрит на меня. — Лекарь сказал, что рана заживает, скоро совсем пройдет. Сказал, что мне повезло — кто-то там попросил для меня хорошие лекарства, особые.

Он смотрит на меня вопросительно, и я понимаю — он догадывается.

— Это Дэмиан помог, — говорю я тихо. — Сын лидера.

Оливер кивает.

— Мне говорили. Сказали, что ты была у него. Что он тебя... — он замолкает, не решаясь продолжить.

— Что — меня?

— Что ты ему понравилась, — Оливер смотрит на меня с тревогой. — Это правда?

— Я была на ужине, — отвечаю я осторожно. — Он пригласил. Мы говорили. Он обещал помочь тебе. И помог.

— А ты?

— Что — я?

— Он тебе нравится?

Я не знаю, что ответить. Потому что я сама не знаю.

— Оливер, — говорю я. — Это сложно. Я не понимаю еще, что происходит. Но ты главное — выздоравливай. Хорошо?

Он смотрит на меня долгим взглядом, потом кивает.

— Тебя куда переводят? — спрашиваю я.

— В барак для выздоравливающих, — отвечает он. — Третий корпус. Там чище, говорят. И кормят лучше. И видаться можно будет... — он запинается. — Раз в день, сказали.

Раз в день. Это лучше, чем ничего.

Мы выходим из лазарета вместе. На улице уже темнеет, факелы зажжены, по двору снуют люди. Оливеру показывают, куда идти, и он уходит, оглядываясь на меня через плечо. Я машу ему рукой и чувствую, как внутри все сжимается.

Мы снова порознь. И кто знает, когда теперь действительно увидимся.

Возвращаясь в барак, я прохожу мимо группы женщин. Они стирают белье в больших корытах, поставленных прямо во дворе — видно, не хватило места в прачечной. Я опускаю голову, пытаюсь проскочить незамеченной, но одна из них — крупная, с злыми глазами — окликает меня:

— Эй, ты! Любимица господская!

Я останавливаюсь. Сердце колотится где-то в горле.

— Чего молчишь? — продолжает она. — Задаваться стала? Плащ вон новый, не чета нашим тряпкам. Спишь небось на перинах теперь?

— Я сплю в бараке, — отвечаю я тихо. — Как все.

— Ага, как все! — она сплевывает на землю. — Знаем мы таких "как все". Выслужись перед господами, а нам потом расхлебывать. Думаешь, не видим, как тебя на легкую работу перевели?

— Я не просила, — говорю я.

— А кто просил? — она встает, подходит ближе. — Ножками своими ходила? Языком шевелила? Небось, и не только языком...

Женщины за ее спиной смеются. У меня лицо заливается краской.

— Оставь ее, Грета, — раздается голос Марты. Старуха выходит из тени, встает между мной и крупной женщиной. — Не твое дело, с кем она ходила. Работай давай.

— А ты не лезь, старая, — огрызается Грета, но отступает. — Еще неизвестно, чего от этой выскочки ждать. Может, она на всех стучать будет, чтобы выслужиться.

— Не будет, — Марта берет меня за руку и уводит прочь. — Идем, девочка. Не слушай их.

Мы идем к барaku. Рука Марты сухая, костлявая, но ее прикосновение успокаивает.

— Они злые от страха, — говорит Марта тихо. — Боятся, что ты теперь с теми, наверху. Что будешь им помогать, а нас сдавать.

— Я не буду.

— Я знаю. Но им не докажешь. Теперь для них ты чужая. Своя среди чужих, чужая среди своих.

Я молчу. Эти слова отзываются во мне болью.

В бараке меня снова встречают взглядами. Кто-то отворачивается, кто-то смотрит с открытой неприязнью. Моя койка — та же, на том же месте, но теперь кажется, что вокруг нее пустота, невидимая стена.

Лина сидит, поджав ноги, и чинит свою рваную рубаху. Когда я сажусь рядом, она даже не поднимает глаз.

— Ты тоже? — спрашиваю я тихо.

— Что — тоже?

— Думаешь, что я... что я с ними?

Лина молчит долго. Потом откладывает рубаху, поворачивается ко мне.

— Я думаю, что ты вляпалась, Мэй, — говорит она. — И я не знаю, чем это кончится. Те, кто были до тебя... их больше нет.

— Кто они?

— Девушки. Молодые, красивые. Дэмиан замечал их, приглашал, дарил подарки. А потом они исчезали.

— Может, уходили? — спрашиваю я.

— Куда? — Лина усмехается. — В лес, к зараженным? Нет. Их увозили ночью. В ущелье.

— Ты видела?

— Нет. Но слышала. От стражей, от служанок. Они говорят, что это отец приказывает. Что Дэмиан... он не может их защитить. А может, и не хочет.

Я молчу, переваривая. Вспоминаю вчерашний вечер — его глаза, его голос, его рассказ о матери. Неужели это все игра?

— Он другой, — говорю я. — Он не такой, как отец.

— Все они не такие, — Лина смотрит на меня с жалостью. — Мэй, они все понимают. Это не мешает им делать свое дело.

— Но он помог Оливеру.

— Конечно, помог, — кивает Лина. — Чтобы ты была благодарна. Чтобы ты чувствовала себя обязанной. Это называется — привязывать. Сначала подарки, потом услуги, потом ты уже не знаешь, как отказать.

Я хочу возразить, но слова застревают в горле. Потому что она права. Я чувствую себя обязанной. Я думаю о его глазах, о его грусти, и мне хочется... что? Помочь ему? Спасти его? Глупость, конечно. Кто я такая, чтобы спасти сына лидера?

Но мысль уже засела в голове, и ее не вытравить.

Ночью я не сплю. Лежу, смотрю в потолок, слушаю, как кашляют соседи, как скрипят койки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.